

ПО берёзовой речке

Нижний Новгород

16+

Светлана Леонтьева

Светлана Геннадьевна Леонтьева

По берёзовой речке

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66927538

SelfPub; 2021

Аннотация

Это, скорее всего, мелодия, это не просто книга. Это исповедь, направленная на созерцание. И самосохранение. О любви к родине, детям. О большом чудесном и всеохватном. И возрадуемся!

Светлана Леонтьева

По берёзовой речке

О, вы, рождённые в шестидесятых,
нам с вами основа одна и эпоха!
Давали ли вы октябратские клятвы,
обещали «служить идеалам до вздоха»!
Обещали. Неужто, все клятвы не вечны?
На школьной линейке, где солнышко в окна.
О, наши худые пернатые плечи
и детские тонкие шеи! И речи
волокна
вожатых, директора школы уральской.
А вы, кто родились в тех шестидесятых,
неужто забыли, чему каждый клялся?
Чему присягал честно, звёздно, крылато?
Неужто забыли свои вы отряды,
и память в осколки разбили, в распады,
под слоем иного, простого, земного,
рубаха, мол, ближе своя, мол, мещанство,
и власть золотого тельца, что кондова.
Неужто мы станем тем самым уловом
для долларов, чуждого мира, для глянца?
О, как мы клялись! Дорастали до ликов.

Тянулись к вершинам. Мы – Богоязыки,
мы – Богоподобны. Мы – Божии дети!
Мы были тогда, мы росли сквозь столетья,
корнями тянулись сквозь землю, сквозь солнце,
корнями мы космос тогда пробивали
до самого Марса, до самого донца
в его изначалье!

О, наши Атлантовые разговоры!
О, рёбрышки под куполами одежды!
А нынче, где сердце, весь мир мой распорот,
а нынче вдоль правды сквозят только бреши...

Как будто подпилены оси и стержни.

О, где же вы, где же
мои сопричастники, клятвоучастники?
Мои соплеменники и современники?
Мои соэпохники, шестидесятники,
мои виноградины вы и Царь-градники,
шабры, шукшинята, друзья и ботаники?
Я правду свою – эту первую правду
вовек не забуду. Предать не сумею.
За други свои! За отца и за брата!
И чем старше я, тем сплошнее, стальнее
на уровне песни, на боли набата
звучит моя клятва!

Есть этот белый день один для нас, для всех.

...Смотрю в лимонный свет фонарный зимним утром,
меня ведут в детсад двором, где политех,
и жёсткий снега хруст осыпан перламутром.

Шестидесятый год, как будто целый век.

Я в валенках. На рынке их купили,
с малиновым нутром – калоши. Просто блеск.
Огромный крепкий мир: дома, автомобили.
Шестидесятые, стальные –
навсегда.

И не сломить меня ни вдоль, ни поперёк ли,
и правду этих лет не выдрать из хребта.

Материя моя, руда, мой мякиш сохлый.

Шестидесятые – ни вес, ни рост, ни бронь.

Шестидесятые, как принадлежность. Или,
как убеждения. Когда ладонь в ладонь.

Когда мы в космос шли и в небушко всходили.

Обманут? И пускай.

Обманываться рад
не только Пушкин был!

...Мне валенки купили.

И вот ведут меня в советский старый сад,
где двор, где политех, где полон мир идиллий.

Не надо воевать за этих и за тех.

Материален мир. Одна сырая масса.

Лепи нас – мы полны! – Бог, ангелы, генсек.

Вот горы, торный путь, вершины, солнце, трасса.
Шестидесятники – особый вид, подвид:
могли родиться в год двадцатый ли, тридцатый,
семидесятый ли. Двадцатый век слепит
не только зрение, а скорости орбит.
Люблю тебя мой год, люблю шестидесятый!
И он не пощадит. Но укрепит мой щит.
Мой панцирь. Не убьёт, а сделает сильнее!
Глядись в него ты впрок! Питайся им он – хлеб,
пускай затем сожгут алтарь его и хлев,
мечты, идеи.
Тот миф, восторг, масштаб от пятьдесят шестых
до шестьдесят восьмых, где снег светлее манки.
Лепили нас стык в стык,
а вышли руны-ранки.
И шрамы вдоль сердец. И «оттепель», как снег,
растаявший. Иду я – валенки в калошах
с малиновым нутром. И хорошо так мне.
И день хороший.

Мир на плечах атлантов, Шекспира и Данте.
Мир на плечах – «Серебряного века».
Мускулистого, крепкого, он так громаден,
мы, поэты, опёрлись на крепь перекладин,
на дощатые высверки рваного снега!

И подумали: «Вот оно, наше! Хватайте!
Поглощайте их книжек топлёное масло,
режьте вены о «Краткие тезисы» Канта,
умирайте в их музыку, пение, краски...»
Эти крепкие плечи – метафоры печи.

В них сгорим, в них мы пеплами станем отныне,
опираясь на вечность, на звёздность, на млечность,
на Цветаевой сладко-лимонные речи,
она сердце твоё, не спросив тебя, вынет!

И отречься нельзя, ибо камни плечи.

И от Бродского не откреститься. Врастаем
мы в Васильевский остров во штормы, во шрамы,
и куда б ни стремились – там крылья, там стаи,
мы увитые ими тугими мирами
и космической россыпью, дыма клубами,
их грехами, ошибками, небом. Цунами!

Выторнаженны. Взвихренны. Господи, дай мне
не сплетаться с чужими благими глотками,
припадая к источнику!

К песням кровавым –

сердца сгусткам. И к плачам, и к стонам, и воплям.

Не нужны мне чужие касания, локти,

даже Божии гвозди ни слева, ни справа.

Мне достаточно игл, и шипов, и булавок

тех, что в спину мои современники ввинтят.

По-совиному глухо,

орлиному остро,
по-акульи – что клинья!
Всё равно я пребуду теплом в чистых правдах,
все равно я восстану и светом, и солнцем,
даже если я выгрызу в ваших ландшафтах
инфракрасный распад –
этот каверзный стронций.
Но я рада, что не продалась за червонцы!
Не уехала жить ни в Чикаго, ни в Осло
не оставила русские прялки и кросна,
чтоб на этих плечах быть атлантов, бореев,
чтоб на этих прясть мускулах русских Гераклов!
Ваши пули пускай в моё сердце дозреют
полем маков!
Дослагать «Жития» и мне Плачи доплакать.
И ещё мне вывешивать русские флаги!
И ещё дорифмовывать русские саги!
И ещё верной быть, в школе данной, в отваге
моей детской присяге.

Прижимаю к груди я учебник, его звёздный лик,
умоляю побудь же со мною, мой труд и мой путь.
И кричал ты во мне языками любви, мой язык,
моим русским на «о», моим русским на «а» во всю грудь.
На тебе говорить, на тебе умирать, воскресать,

я искала тебя во всех книгах, во всех словарях,
и вот здесь на земле находила твои небеса
во степях, во лесах, во следах, во людских голосах,
во гвоздях, на которых распяли, язык, твою плоть...

Будь же милостив к падшему, будь снисходителен к тем,
заблудившимся, изгнанным. Твой в моём сердце ломоть
и твои восклицанья до самых истошных фонем!

Ты, что воин, что страж, встань всем строем у наших гра-
ниц!

Слово русское, словно былинное, встань во весь рост!

Это жизнь так танцует,
и смерть так танцует!

С ключиц,

с позвоночника словно бы стая взлетает жар-птиц,
и поёт, и поёт так пернато во тьме алконост.

Мне так стыдно бывает, когда запрещают тебя,
когда в руки вбивают штыри, и ломается кость.

И мне хочется крикнуть да брось, супостат, не гундось –
мой язык внутривенен! Утробен! Я помню ребят
из одной со мной школы. За партой одной со мной кто,
помню – стрижены ногти и чёлки, что накоротке.

Да хоть вырви мне горло, кадык, всё равно буду ртом
говорить на родном я на русском своём языке.

А не ртом, так всем солнцем, что мне прожигает ребро.
Одного я боюсь своего – пусть не сбудется! – сна,
в нём приходит, как будто бы странник дневную порой

и как будто танцует, и волосы, словно из льна.
И речёт! И глаголет! Но люди не могут понять,
ибо – чипы, спорт-мини, биг-доги летучих лисиц.
Ни гортанная речь, а бездушная на-на-родня.
И ни слёзы, а камни текут из раскосых глазниц.
С нами падшие деды о самом святом говорят,
но о чём...не припомним...

И я просыпаюсь в поту.

То, чего не смогли уничтожить война и снаряд,
то, чего не засыпали пеплы сухих автострад,
неужели погибнет в нас слово живое во рту?

Так пытается нас супостат изничтожить! Вовнутрь
протекает, что стронций. Что рак разъедает и жжёт.

О, язык, о, мой крест, о, мой любый, молю я, побудь!

Извлекать без тебя, как смогу сладкий Одина мёд?

Да, никак не смогу...

Как же мама, что моет стекло?

Как мои одноклассники? Вечности всех моих тризн?

Как же мне восклицать, что прекрасна, что пламенна

жизнь,

как убийственно жгуча и как она смертна зело!

Невозможно содвинуть. Переваять.

Я-то помню линейку, что в школе и клятвы

про «погибнуть в борьбе», про «народ, с коим я»

и сквозь светлые слёзы «про подвиг, что ратный»!
Неужели всё в прошлом? Что было, прошло?
Неужели лежу головою в траве я?
Мне обидно, хоть вой. Но одно хорошо
то, что не предала ни мечту, ни идею.
Одноклассники: стрижены ровно под ноль,
одноклассницы: белые фартуки, банты.
Наша кровь голубая аллее, чем боль,
ярче, звонче, красней, солонее, чем соль,
раритетнее, чем фолианты!
Лучше так вот, как я! Ни купить-ни продать
за пушнину, за нефть, не сбежать в эмигранты.
И не так, как сперва в коммунистских рядах,
а затем во церковных вам рвать свои гланды.
О, как мне хорошо-то, о, как хорошо,
наплевать, что растёрта, что вся в решето.
Мне не надо навязывать небо! Отстаньте!
Ибо небо само мне прильнуло к груди.
Как любовник. О, правда ль, оно – высочайшее?
Так впадай всё в меня! Всю меня изведи!
Так, как клятва, что в школе моя настоящая!
В эту клятву пропащая я. Вся – до пращура.
До добра его. Города. Скарба и ящика.
Это высшее. Лучшее. Живородящее.
А не так, как сейчас Золотого тельца
чипование, банки, вранье... О, обрящем ли,

иль позволим, чтоб рвали до корня сердца?
Снятся, снятся мои одноклассники: локти,
их ключицы, их рёбрышки, блузки, рубахи,
ибо мир наш тончайший был вышит, был соткан,
ибо крепкий, где крылья во взмахе.

Помню все их родные мои голоса.

Током бьёт меня за двести двадцать вся память.

Как же с курса мы сбились? Смогли проплясать
или просто проспять, Атлантиду утратить?

Сребролюбье кругом, ложь, предвыгода, блажь.

(Головою в траве я, а телом к дороге,

належалась за всех вас. В ладони – мураш,

а по небу орлица в элладовой тоге...)

Вы мне снитесь? Иль я себе снюсь до костей

до пупырышек кожи, сплетённых волос ли?

Как защитница преданных я крепостей,

всех разрушенных, проданных, выданных, слёзных.

Не предатель – всех преданных, взятых во блуд.

Оттолкнуть бы упавшее небо руками!

Разгрести бы дожди, что упали на грудь.

И опять бы, и снова мне встретиться с вами!

Завтра пойду в церковь, что на взгорке,

эта белая церковь кружева тянет в небо.

Вот идут сюда люди, идут в час свой горький.

Водосвятыє. Крещенье. Молебны.

У людей много всякого. Цельны. Поломаны.
Как чинить судьбы их? Как латать? Как заштопать их?
За водицей святой встану в ряд. Кто с бидонами,
кто с пластмассовой тарой. Кто молча. Кто шёпотом

повторяют молитвы. Я – рядом с мужчиною,
говорит, что жену схоронил. О, возможно ли
не заплакать в тот миг? А слеза светит инеем
на щеке у меня. Я, как в землю вморожена.

Как помочь этим людям? Сама не святая я,
ни Алёшенька я Карамазов, ни Настенька.
Я читала молитву – молитовка таяла,
были рамы оконные из стеклопластика.
А не те деревянные, те, что дышали бы,
пропускали слова прямо небу да в сердце бы!
Я не помню зачем я пришла, до себя ли мне,
мне людей бы спасти. Да по-сестрински!

Грешных, бедных, больных. О, да пусть бы насытились.
Речников и матросов. О, дай рекам рыбыцы!
И не надо по капле, не надо сквозь сито им:
полногрудо и солнечно, златом анисовым,
пляжем Тенерифе, Маунтином да Ибицей!

Всем объёмом, всем космосом. А не копейкою
(как прибавка, что к пенсии капля с полтиною),
а не Данте окружем, не горсткою семечек,
не какой-то лепниною и писаниною.

Много-много! Чтоб множество множилось, ширилось.
Как билет без наценки в Большой, где Рахманинов.
Чтоб создать мир иным. И иное, чтоб в мире нам.
По заслугам! Подаренному, чтоб отдарено,
чтобы кесарю – кесарево, брату – братово.
Как за мир мне поратовать
этот Пилатовый?
Как за мир перекупленный?
Трудно мне. Трудно мне...

Как за эту молодку, мужчину и старицу?
За малышку? За женщину? Просто попутчицу?
Но одной мне не справиться, право, не справиться.
А коль вместе со всеми –
получится!

А я всех люблю! Всех, кто обидел, простила!
Всех, кого невзначай, невольно, меня простите.
Всех, кто сердце кромсал моё с дикою силой,
чтобы после сшивала его грубой нитью.

Я – как Феникс из пепла, что Феникс до пепла.

У меня ни слова из груди, а кометы.

Я сама от себя, возгораясь, ослепла,
я сама от себя, укричавшись, оглохла,
я сама от себя задыхаюсь – до вдоха,
я сама так умна – что дурёха!

Света! Света...

Снохам

повезёт моим, ибо не жадная вовсе.

И качать буду внуков – мой мальчик, мой кроха!

И укладывать в восемь.

Во вселенском масштабе я мыслю эпохой,
а в космическом мыслю распятием Бога.

Нынче в церкви стояла: и слёзы струились,
где душа – вдоль ожога...

Того самого, где я, что Феникс из пепла,
где, что Феникс до пепла!

О, как руки мои прямо в небо воздеты,
мне до неба полметра!

Успевай только трогать небесные ситцы!

Успевай только гладить небесные бязи!

Всех люблю! Всех прощаю! Вморожены лица
в мои жаркие раны. В душевные казни.

Всё равно я на дно не лягу. А буду
выковыривать рифмы из рваных сосудов,
выщеловывать их изумруды!
И распахивать ящик Пандоры всечасно.
Всемигунто и ежесекудно. А впрочеи
всё равно я согласна, с чеи я не согласна,
всё равно я виновна, в чём я не виновна. И точка!

Лишь бы родина, лишь бы мой дом, мои дети
были здесь и всегда. Чтоб, как Феникс из пепла.
И пускай мой огонь им всегда всюду светит
благолепно!

Я – дочь трудового народа. Клянусь!
Быть. Сбываться. Отстаивать. Защищать!
Мою святую чистейшую Русь.
Её распрекрасие. Стать. Благодать.
От этой злосчастной пустой демократии,
от волчьего щёлканья мин на полях,
на горле, от этих когтей грубых, сжатия,
клянусь, что не дрогну! Не сдамся в боях.
Все плахи – на вынос. Штыки все – на вылет.
Чего вы твердите, что мантру, враги,
что спороты наши Икаровы крылья?
Что в наших раненьях не видно ни зги?

Что в наших отверстьях от пуль – тьма небесная.

Ни тьма – а высоты!

Ни темень – а свет!

По-вашему лишнее и бесполезное,
ненужно цветастое, пропасть над бездною,
и что нас – вселенских, Атлантовых – нет.

Как Китежа нет. Атлантиды. Бореи.

И что за страна эта – дивная Русь?

Что ищет во всём справедливость? Роднее
нет поисков. Нету пыльцовой, хмельнее,
я – дочь трудового народа, клянусь
раскрасить вновь шёлком из алого ситца
полмира. Полцарства. Жди парус, Ассоль!
Жги –

Русь очерняющих, грязных страницы!

Историю нашу порочащих. Спицы
вставляющих в рёбра! Орущих «jawol»!

Я – дочь трудового народа. Я – соль.

Мой дед был замучен, истерзан в концлагере,
а бабушка с голода пухла в Сибири.

Мы верили в лучшее, ибо мы – факелы.

Мы больше. Мы выше. Мы новей. Шире.

Спасительней мы. И творительней в мире.

Запомните наши учения русского!

Уроки истории. Правды. И мускулов.
Ботинок Хрущёва, покажем, мол, кузькину!

И, вправду, клянёмся! Вы миром, что тиром
хотите напичканным мусором, мускусом,
как будто борделью, как будто трактиром
главенствовать, править сквозь вогнутый космос.
Не будет по-вашему. Нет.
Мы клянёмся!

...как мне льстило! Казалось мне, ну, точно я – та!
Ты – на поле сраженья, а я тебе – стрелы, колчан.
Ты коня запрягаешь, а я подаю хомута
и броню очищаю, где раны нанёс ятаган.
Открываю ворота. Крещу. И чего-то шепчу.
А потом догоняю. Молю, чтоб остался со мной.
И – себя я кидаю под ноги твои, как свечу
восковую, дрожащую. Слезы легли пеленой.
Постепенно, по капле входил бы мне в сердце рассвет,
города бы втекали твои, купола и мосты.
Да, я та, что ждала тебя множество, тысячи лет.
До себя. До рожденья. В ребре оставалась, где ты.
Мне казалось, я – то, что тебе было нужно сейчас.
И всегда. Помнишь, там на Волхонке московской есть
храм?

Там такой золочёный, дубовый огромнейший Спас!
Мне казалось, и что ещё надобно, радостным, нам?
Мне не надо ни злата, ни серебра. Это смешно
что-то требовать, что-то просить у тебя, мол, купи.
Вот представь: Пенелопа прядёт по утрам полотно,
по ночам распускает с двенадцати и до шести!
Мне казалось, казалось... наивная, как ни крути.
Говорила – не слышал. Звонила – вне доступа. Вне
абонента и зон, и углов. Лишь полсвета в горсти,
но уже обосененно. Листья кружат в тишине.
Слишком много придумала. Слишком высок постамент,
на который сама же тебя вознесла без хлопот,
целовала стопы. Но один не учла я момент.
Я не та, я не та. Ну, а ты, мой единственный – тот!

Слово в начале было. Струилось.
Слово свивалось, как бабочка в кокон.
Билось. Как в бубен. В исчадьё и стылость.
Слово за слово, как око за око.
Фраза за фразой, гласной, негласной.
Общий фундамент –
святой, праславянский.
Слово – оно архитектор и мастер,
каменщик, плотник, глашатай и пастырь,
кружев орнамент.

Сжальтесь, молю я! Я слово рожаю.

Я пуповину отсекла, отгрызла:

слово вначале на поле, на ржави,

в лоне отчизны!

В лоне вселенной молочные реки,
светлые слёзы, что сжаты до слова.

Нет его в птице – оно в человеке,
нет его в звере, чья поступь песцова,
в дереве, в пластике, в кости тигровой.

Слово царёво. Оно кумачово.

Слово пудово, тесово, толково.

Слово терново!

Душу оно до крови искололо.

И из груди, еженощно сгорая,
вновь возникая, как феникс из пепла,
рваные крылья от края до края
крепнут.

Старше всех стран, всех племён и созвездий,
но кукушонком, где осыпь, где яма
падает, крошится, рвётся о бездну:

«Мама!»

Слово щитом на воротах Царьграда,
взмывом алеющим русского флага,

русскому слову любая громада,
плечи атланта – всё кстати, во благо.

Просто не трогать, где больно, не надо!

Русскому слову я сердце всё – в топку,
словно бумагу.

Какая из меня свекровь получится? Ты только представь!
Добрая ли, справедливая, лучшая? Мама мам?
Мой кареглазый! Мой сын – правь, навь, явь,
молитвослов мой, псалтырь мой и Нотр-дам.
Перелила в тебя жизнь. Я – сосуд древнерусский, кувшин,
ты перельёшься в детей своих будущих: плоть, небо, звук!
Здравствуй, о, женщина! Та, что полюбит мой сын.
Не причиняй же ему этих звёздных, космических мук!
Только тепло. И горстями, ковшами хрусталь
из световых этих ласточек, этих щемящих лучей.
Обожествляясь, единственной женщиной стань!
Я умоляю во имя всех жарких ночей.
Сердце моё пахнет хлебом, исклёванным вдоль, поперёк.
Сердце твоё, словно булка ванильная – сахар, изюм!
Пусть изо всех, сколько в мире путей и дорог,
пусть, хоть одна, но ко мне, приведёт на порог,
ежели вдруг перемелется в крошки – лукум,
если раскрошится. Верь, что я рваный простор,
крылья его, его генный, пыльцовый набор,
ваши тела я сращу! Телом – тело в упор!
Пласт огневой да с Везувием тем, что превыше всех гор!
Не прокурор – я! Свекровь – это сродная кровь.

Ах, капелюшка, дождинка людского добра!
Я не обижусь: хоть молви, хоть злись, прекословь.
Просто из цивилизаций, как мир, я стара!
Бывших, погибших, утопших, сгоревших – древней,
Майи, Египта, Кароля, где Солнца Врата.
Но о себе я не буду. Хочу я о ней:
солнечной пряже, невестке, кусочке холста.
Если подружимся. Если сплотимся в одно.
Что монолит. Что бетон. Что алмаз. Тёплый кров.
Но я хочу, чтобы стало, срослось всё равно,
чтоб изваяло меня бы – в свекровь!
Вот и пойду нынче я, вот пойду в ближний храм,
скромный платок повязав, спрятав слёзы в прищур,
Всё за Россию просила, за космос, за родину там.
Батюшка!
Нынче о личном, сыновнем, молясь, попрошу!

КОМЕТА

Что тебе моя жизнь – траектория жаждущих?
Так гореть, как горела под этими солнцами
в ярко алых хлыстах, в море льда, стекло-пастбищах
я не знаю, как можно меняться нам кольцами.
С указанием пути, с предсказаньем столетьями,
ты – сияющим эллипсом в угли сожженная,
«по Сварожьи хоже» – всем огнивом согретая,

а трубач нам играет, и глотка – лужёная.
Рио-самбо, сонату. Нет, лучше на паперти
рассыпаться на пеня, чем звуков сближение.
Это словно бы спички
подать поджигателю –
Геродоту, чтоб храм он спалил в час затмения!
«Храм искусства гори! – чтоб орал он, безумствуя.
А трубач продолжал бы дуть в жёлоб экватора.
У тебя на страничке в контакте прохрустово
это ложе горящее. Мне так не надобно!
Вдоль орбиты твоей. Но без мук прикасания.
Погляди: вон волхвы снова в путь собираются,
вновь пакуют дары: рис, пахлава, лазанья.
А во мне жар такой – выжглись все внутри аисты!
Все сожглись чувства смертные! Все – до зачатия.
А трубач? Что ему? Рио-самбо на фитиле.
Задаваясь вопросами, яндексом, чатами,
я скажу – не в гробу, в телескопе вас видели!
Танец жизни там, в небе, как драма кометная.
Словно чучела маслениц вспыхнули алые:
ты была до всего, до людей – силуэтами,
ты была после всех Ариаднами, Талами.
До вот этих страниц, до язычества, младости,
до волхвов с их дарами, предчувствий, предвестников,
восхищала огнями, полётом, мытарствами,
провисая в мирах всем разверзшимся месивом!

Из цикла «ОГНЕННЫЙ ЭЛЛИПС»

Если бы знала, то я научила бы – как!
Не гореть, не сиять, быть не открытой учёными.
Как нам созерцать невозможнейший мрак,
восходить в небесах пепелищами чёрными.
У людей только звёзды, а мне – эллипс твой
плазм горящих, снедающих, плавящих,
трав и листьев сгорающих, шишек и хвой.
Стой!

Опасно врагам и товарищам!

Секретарша в прихожей. Охранник в дверях. В небе – жарыще!

Если б знала, кормила бы знаньями я
и высоким, святым, монастырским, аббатовым.
Траекторий мучительнее, чем моя:
по-немецки «krivaito», латышски «skiwe»,
криво-косо у нас под Саратовом!
Этот профиль сияющий!

И свет очей!

Огонь любви!

«Заповедник» Сергея Довлатова,
под ногами нет почвы – лишь сгусток ночей,
нет земли – той рябинной, исплаканной!
Умирать на чужбине сложнее всего!

Вот поэтому в космос, в галактику, млея,
распадаясь по-птичьи в своё серебро,
имя вплавив Эдмунда Галлея!

Прячь-не прячь. А яйцо это в кролике. И
прогорит его серая, мягкая шкурка.

Я, как чучела Маслениц на раз, два, три
поджигаюсь сама без костра и окурка.

Всех сподвижников пламя во мне, бунтарей
и фосфин этот рыбий, дельфиний, китовый:

Геростратам такое число алтарей

и не снилось, как смертникам выжженной крови.

А по мне плачет остров зимой Алатырь!

О, не надо, не надо, чтоб об руку – руку!

Я тебе повторяю: сожглись вглубь и вширь
все кощеевы зайцы – по паре за штуку.

Все спалились. И даже ладонь на ладонь
не клади. Я – Везувия лав километры.

Дохристосовый путь. Доязыческий стон,
доархейский и доменелайский огонь

в небе – пеплы!

Мне лбом толоконным ли биться об стену?

В кирпичную кладку, в шершавый гранит!

Как Шлиман Элладу, любить внутривенно.

А Троя сгорела – лоб бит!

И стена между нами длиной с горизонт,
высотой в сорок неб!

Но лбом толоконным какой мне резон?
стена – это личный мой Иерихон,
который ослеп!

Вот так прислонять бы к устам трубный звук!
Ласкаться губами в округлое «ё»,
и пали бы стены без всяческих мук,
заслышав моё тугое литьё!

Но я – лбом об стенку, блондинка, дурьё!
В своё же упрямство, небрежность, бытьё!
О, братии! Хор Валаамский ты мой!
«Блаженны надеющиеся» пропой!

И «се до полунощи»!

Как я жива?

Мир проще. Небрежней. Мир просто другой.

Мир мебельной стенки – её на дрова,
соломенной стенки: багульник-трава.

Где книги твои! Где часы, как сова.

Кость лобная – в зеркале, брови – дугой.

Ни ангельской пенки, лишь с пенкою кофе.

И в город, что точкой на карте, бей лбом!

А древний, щемящий, элладовый профиль –
лишь оттиск монетный.

Встретимся? Наверно! А, может быть, никогда не удастся
пересечься в мирах, свет лун скрестить в одной точке
на одной дороге, тропе, на одной автотрассе,
из одной чтобы чашки сливаться в глоточке.

И ласкаться губами к фарфоровым бликам,
и одной ложкой есть – ложка из мельхиора.

Ты, наверное, будешь моею ошибкой
из естественного по природе отбора.

Говорить будешь умно, что мной очарован,
а мне можно с тобою быть глупой блондинкой,
слушать: сколько во мне есть простого, святого,
сколько птиц перелётных, что у Метерлинка.

Толкований, познаний, костров, меток, правок,
волхований, признаний, смертей, круговерти
и данайских даров, неоправданных ставок.

Где ты?

На какой из планет? На какой из великих
затонувших? Рушник где – байкальские рюшки?

Я в бетон закатала свой плач, свои крики.

Задыхаюсь! Мне холодно, вьюжно так, вьюжно.

Мне феврально в июле. В огне я промёрзла

Я в ребре твоём, знаешь? Создай меня! Выпей!

Смастери из металла, гранита, берёзы,
свет горстями – в улыбку, черёмухи кипень!

Если ты не родился, прошу, возрождайся!

Разведись! Откажи всем: жене ли, невесте!

Я не знаю, как вместе сложить мне все прайсы...
Может, ты был давно? Лет так сто ли, известий?
Или будешь когда-то? Я жду всё упорней!
Я пеку пироги. Зелень ставлю для супа.
Как естественно быть у природы в отборе!
Твоё небо – в упор мне. И солнце – в упор мне.
И во мне, и в меня, и мне в сердце сугубо!
Постелю на диване тебе. Ночь и звёзды...
Где они, где они аномальные зоны?
И сакральные сдвиги? Солярис! Чей воздух
ядовито пьянит! Пережди со мной грозы.
Не в Москве, так столкнёмся с тобой в Аризоне.
Не в овале, так в ромбе. В пустыне, в песках ли
мы ползти будем, руки вздымая друг к другу
Пусть погибли. Расстреляны. Пусть наши прахи
над землёю развеяны и над округой.
У отбора естественного нет отбора!
Птиц, зверей, огнекрылых и ангелокрылых.
Но не встретимся мы. Твоё небо – в упор мне.
Твоё солнце – в упор мне.
Ах, милый, ах, милый...

Все молитвы мои, все, сколько есть, конечно, о детях,
все молитвы мои – бессвязные, слёзные – о моих родных,
говорю, шепчу, у икон молюсь, не болейте,

да минуют вас эти игрища зол мировых!

Да минуют вас эти мании, фобии, стрессы, печали,
разухабистость, кражи, обманы, суды и жульё!

Я хочу, чтоб вы встали, когда безнадёжно упали,
я хочу, чтоб прощали обидевших, взявших ружьё.

Не хочу, чтобы око за око, за зуб чтобы зуб и тем паче
не хочу, чтобы первым удар. Не хочу, не хочу, не хочу!

Поля битв и сражений, майданов, безумств, революций и
стачек.

И поэтому в церкви я ставлю за свечкой свечу!

И вздымается жёлтое пламя! Прозрачное! Тонкое! Роз в
перламутре

так сияет свечение, так размыкаются звёзд хрустали.

Вы побудьте светло и надмирно, наднебно побудьте
в моих мыслях, мечтах, в моих грёзах, родные мои!

Разрываю все цепи, канаты, которые могут отъять вас,
раздираю напасти на части, на крохи, на пыль, на пыльцу.

И всем чёрным дорогам не быть! И не ставить препят-
ствий

вашим светлым дорогам по ровной стезе, по плацу!

Поддержите Христа! До Голгофы, по травам, по мхам, по
каменьям

донести на плечах изумрудный, неистовый и невозмож-
нейший крест!

Проливаюсь я в вас в золотой ваш запас, по нетленьям,
по просторам, пространствам, в ваш мир, в ваш тугой Эве-

рест!

В ваш реестр, распечатки, закладки, Зюйд-весты, Норд-осты,

в переезд, в переплав, в манифест и отъезд, и приезд!

Я без вас не могу! Я без вас, словно ствол без берёсты!

Я без вас, как без кожи! Тоска моё сердце доест!

Вот чему я учила: князь Невский да песнь Святогора,
про былинный я дух говорила, про старцев из монастырей!

И пускай будет так. В этом мире я только опора,
что из светлых светлей, из надёжных и добрых – добрей!

Поэтесса, не пишущая стихи,
не заворачивающая слова в кружева,

где же коклюшки твои, крючки,
где Араратов твоих синева?

Нынче все стены мне – Иерихон,
нынче любой плач мне, что высота,
нынче Парнас мне – беда и заслон,
каждую фразу снимаю с креста!

И говорю: «За какие грехи
дар твой отъят? Ты не пишешь стихи!»

Ты, поэтесса, не пишешь, ты спишь!

Вот погляди: чан глубокий, в нём кишмиш.

Я так себя отдаю на вино.

Всю, сколько есть и неведом мне страх.
О, как в давилъне пьяняще-пьяно,
о, как в давилъне сладшайше-хмельно:
вы на моих потанцуете костях!
Люди! Мной столько разъято небес!
Люди! Мной вплавлено столько желез!
Столько наскальных рисунков – владей,
ей, поэтессе не пишущей, ей,
наглухо заткнутой, словно кувшин
обезволшебненный в мире пустот -
обезлукойленный маленький джин.
Тот, кто не пишет несчастней всех тот.
Сам себе кладбище – холод и лёд.
Вам поэтессам, кто пишет стихи,
вам, кто терзал меня больно, но всё ж
все я прощу наперёд вам грехи,
только, прошу, не жалеть мёртвый дождь!
Только, прошу, не жалеть мёртвый снег!
Высказать правду сегодня для всех.
Высказать правду и снова, и впредь
на сто веков высочайших запеть!

От сентябрьских птиц знобит в апреле.
Вот я в лес захожу, где когда-то кукушки
говорили со мной на моём акварельном,

на льянном языке! Кружева и коклюшки
были поводом плача и поводом песни.
Я слова, словно сети, над миром вздымала.
А сентябрьская птица – безкрыла, безвестна!
Полуптица она, полугриб – мох и плесень.
Все листы изжевала, и всё-то ей мало!
Хоть не в сердце, так в пятку – пята Ахиллеса!
Так цепляется старое, ветошь каркасов.
Ах, Алёшенька, братец ты наш, Карамазов!
Ах, Алёнушка, будет ли пьеса?
В самом чреве пореза – иди и повесься!
В этом мёртвом, сентябрьском узле,
хотя, впрочем,
вот он – Кесарь!
Твои сбитые шапки времён Черубины.
Твои смятые шторы, где вырваны небы,
твои блёклые звёздочки те, что без ночи,
у сентябрьской пичуги оторвано имя,
каково ей носить вместо пёрышек – склепы?
Брошу крошек ей горсть: греча, жмых да пшеница,
кину семечек сладких, кедровых орешек,
будешь клювом долбиться сентябрьская птица,
будет крик твой в ночи неутешен!

Корни этой берёзы обнимают тебя, мой отец,

песчинки вот этой земли щекочут твои ладони.
На вешалке шарф твой остался из шерсти овец
отчаянно рыжий! И куртка ещё из болоньи.

Такие носили тогда. А ещё помню я твой портфель –
он лаково-чёрный. В нём плитка всегда шоколада.
Лубочный наш мир – оловянных солдатиков, фей.
Журнал «За рулём» ты читал и выписывал «Правду».

Ходили с тобою мы вместе на площадь.

А нынче – беда!

Завод, где работал ты – продали!

Как же так можно

разрушить страну? Растащить по карманам? Предать!

Но ты, мой отец, не застал времена бездорожья.

Я письма хранила твои. А сейчас, а сейчас

я каждый истёртый конвертик беру и вдыхаю:

цветасто! Побуквенно! Словно бы некий запас

ещё у нас времени есть пред изгнанием из рая!

Ещё на табло не черно!

Ещё нету табло!

Ещё не случилась у нас, как сейчас, катастрофы:

куда ни взгляни – банки, рынки, обвалы, бабло,

сплошные Голгофы!

И ржавые гвозди распятыя...

Отец мой, отец!

О, как я люблю тебя! Как по тебе я скучаю!

Я шарф твой беру – этот рыжий – из шерсти овец
и, словно котёнка, держу и держу у плеча я.

А сердце моё так стучит, что сороки – бегом
с под талых ветвей врассыпную метнулись огрузло.

Ты был коммунистом, отец.

Верил: честным трудом,

что зло победили бы мы! И вот этот – дурдом!

...Ты умер, о, Боже, за день до развала Союза!

– Доброе утро! (А сон о тебе был воздушный такой!)
Доброе утро! Но нет тебя рядом. Жизнь – после тебя!

Какая она? После песни, где красной строкой
скрещение звёзд, сопричастие смыслов клубят.

Ты был так масштабен. Ты был из тех самых комет,
ты был из огромного месива разных галактик.

Из пенья монахов, Саровской метелью согрет.

Мне в холоде – жарко. Ты помнишь мой синий халатик?

И помнишь ли это: «О, люди, поклонимся мы»!

И «Чёрного ворона»? Там, при тебе было лунно,
пасхально и вербно. И не было столько зимы
почти что до мая! Онлайн обучение рунам!

И все имена Византийские были в письме.

И письменность всюду цвела на бумаге, как раньше,
и грамотность в людях жила, обвивала, что хмель
стволы наших книг, их тела золотые, лебяжьи!

Жизнь после тебя вся бесплотна, бесплодна, вся – крах!
В высотах – паденье, в вершинах провалы пробоин.
От жара во мне все слова запеклись на ветрах,
от боли во мне по тебе только звон колоколен!

И после тебя меня больше и злей предают.
Одно хорошо, что не я, а меня, утешенье.
И хочется крикнуть: «Подруга, и ты тоже – Брут?»
А сердце моё, как всегда, выступает мишенью.

И кружатся мельницы чаще. И мой Дон Кихот
вступает в сражение с ними.
Не снись больше ночью!
Забудь, где там двери в мой сон. В этот, бывший и в тот,
который сегодня! Который мне в память вколочен.
И мы не в ответе за тех, кто кого приручил.
И мы не в ответе за тех, кто сказал: «А кто судьи?»
Верни мне от снов моих все, сколько были, ключи,
и – в форточку их. А не вместо кулона над грудью!

В моих душевных ранах всё равно свет и добро!

Какие бы ветры не гнули, не выли.
В них такое отсвечивает серебро
со скоростью мяты, изюма, ванили!
В моих душевных ранах. Откуда они
ты не спрашивай, сколько в них цивилизаций
и сколько разрушенных стран в них звенит,
какие исчадья, в них войны клубятся.
Какие сдвигаются материки.
Какие галактики стонут от крика.
Я их замуровывала бы в стихи.
В бетон бы закатывала безъязыко!
И всё-таки близь в них! И всё-таки свет!
Вложите персты в мои раны – там небо!
И каждый простор в них, что башня, продет
цветами, листвою, огнём бересклета.
Живящие раны – росой, пылью...
Мертвящие раны – черны, словно омут...
И в каждой, разверстой – ты! Руки, лицо,
слова твои, фразы искрятся, не тонут.
И в каждой, ещё не зажившей, все мы!
И в каждой Алёша сквозит Карамазов,
и Данко, нашедший дорогу из тьмы,
о, раны мои, перешедшие в язвы!
Нет. Я не смакую вас. Я по утрам
бальзамом, зелёнкой лечу вас. И сказкой!
Я так закалилась в борьбе. Тарарам

меня не страшат, меч, ни сталь по-дамасски.
Ни стрелы, ни лук, ни кинжал, ни шипы!
Ни россыпь клевет, оговоров, наветов!
Всё, что не убило – воздвигло щиты,
пропело мне гимны и «многие лета»!
И каждая рана теперь – Иордань!
Я трижды крещусь, окунаясь до донца.
И сколько меня ни терзай и ни рань,
во мне прибывает лишь солнце!

Руки тяну к осколкам родины я моей.
Родины, покрывающей алыми парусами
ломоть ржаной полушария,
синий простор морей,
родины, что глядела наших отцов глазами!
Руки тяну к осколкам! Карта из прошлых времён,
что на стене пришпилена, не утаит маршрута!
Мамочка! Это сон. Тридцатилетний сон
будто!
Да там у всех у нас – разностей было полно
несовершенств. Затем, помните, в девяностых,
как раскрутили вширь старое веретено,
как раскрошили страну в кучу осколков острых.
Нет, я – не коммунист. Нет, я – не демократ.
Но мне безумно жаль. Нас. Что случилось с нами.

То, что попали мы зернами в грубый накат,
то, что нам нужно взойти в этой печи хлебами.
Но слишком жёсткий огонь. Но слишком огненный жар
на подгоревших полях, либо не масляно тесто.
Руки тяну, тяну, ой, как мне родину жаль!
Ту, что внутри меня. Ту, что вокруг повсеместно.
Дайте мне шёлковый плат – плечи плотнее прикрыть!
Руки, которыми я жадно тянусь, задыхаясь.
Если объятья мои станут летучее крыл,
чтоб обошла судьба внуков моих лихая.
Вдумайтесь в имена, в подвиги, в наше всё.
Парк есть победы у нас. Космос Гагарина. Пресня.
Символ не раздробить ни в два притопа, в прищёлк.
Сколь не суди – не судить.
И не забыть, хоть тресни.
Там мы крылатее. Там чище, молебней, сильнее.
Я не хочу, чтобы бывшей, я не хочу, чтоб погибшей.
Через препятствия к ней. Через столетия к ней.
Я – твой осколочек суши, хлебная крошка морей,
я – твой клочок распоследний этой целебной афиши!

Воды холодной терпкая струя
из горлышка стекает вглубь кувшина.
Троянская Елена – это я!
Отец хотел мне дать такое имя.

Но маме нравилось Фотинья. Фотина.
Алёна – сёстрам!
Греки – те же русы!
По книгам моим бродит старина.
По жилам – солнце. В кости, в каждый мускул
Эллада бьётся. Досмотреть бы сны
о веке Золотом! В накидках, складках.
Ужели я – исчадие войны?
Ужели красота – не так уж сладко?
Как жёлтых вод холодная струя?
Меня распять. Меня убить такую...
А красота – есть грех. Все вы – судья!
Так значит я, и вправду, существую?
Я – есмь приговорённая. Во мне
всё живо. Всё – жара и лето.
Во мне – всё больно! Город на холме...
Прочь, прочь! Достали вы меня, поэты!
Мне плакать хочется! И выть, зажав кулак
между коленями. Беременна я Троей!
Её конём слоновым! Экий враг –
комок из дерева и тоже мне – в герои!
На мифе – миф. Наполнены сердца,
как Леонардо полон Моно Лизой,
так Троей – я! Что девять грамм свинца,
она во мне растёт в плену коллизий!
О, тело моё белое, не рвись

на сто осколков виноградно-винных!
...Экскурсия. Мне гид – как звать? – Парис,
помешанный на деньгах и машинах,
расскажет суть. Ужель и он – судья?
Смазливенький...целует руку звонко.
Ах, дурачок, Елена – это я,
вынашиваю Трою, как ребёнка.
Чанаккале. Уютный дворик. Бар.
Богатых любят здесь, как сыр творожный.
А я сижу и думаю: «Нам в дар
Эллады сны! Россия в дар нам тоже!»
Парис целует щёк мне алый жар...
И сигаретно пахнет его кожа.
– Зачем приехала? – он спросит.
– Как зачем?
Ищу свою могилу. Я – Елена.
Пирожное. Маслины. Сладкий крем.
А с Троей что?
А Троя – внутривенна!
Парис влюблён. Влюблён, как Менелай.
А судьи кто? А судьям – взятки гладки!
Златая пыль струится. Птичий рай.
И огненные в небесах заплатки!

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Как вспомню: слова – горлом, через край,

а от сердца отмерзают рубах льдинки!
Это были люди-горы! Человек-гора,
правда моя, солнце моё, князь наш Владимир!
Как вспомню: сразу летописи сквозь меня
сами тянутся, сами впиваются мыслями, фразами.
Княже, княже, седлает гнедого коня
во леса, во болота, чьи звуки бекасами,
куликами захвалены, слушать, да слушать бы.
Сквозь повязку виднее, сквозь ночь неоглядную,
только летописи все сквозь меня: тело, душу ли,
сердце бьётся, как в стёклышках: Ладо, о, Ладо мой!
Эти руны-царапины, как носить камни мне?
Как мне полою стать?
Как пустотами вымостить?
Супротив слать хазар войско во поле бранное?
У кого мне просить мира, правды да милости?
Далеко и не сразу случилось великое,
поначалу от волжских болгар шли послания,
латинян, иудеев шли грамотки-скликанья.
Но однажды был сон князю под утро раннее.
Византия приснилась ему красно-красная,
Византия приснилась ему светло-светлая.
Со святыми Кириллом, Мефодием. Плазмой
вдруг прожглось все нутро его, жаркою Летою.
Словно острою бритвою память порезана,
забываясь, язычество, ты со стрибогами,

эти меткие, словно мечи, были лезвия,
обкромсали все жилы, все вены, все органы:
слуха, зрения и осязания прошлого,
были идолы свергнуты и в речку брошены,
а куда топились они в льдовом мареве,
заходились фигуры их в пламени-зареве.

...И выходит выплакивать Анна. Исподнее
на ней только бельё да чепец бледно-розовый,
византийская девица, что порфиородная
да багряных кровей
да морей абрикосовых.

– Я сточила своих сорок свадебных посохов,
сердце разорвала я на льдинки под грозами,
и я лоб раскровила, молясь над утёсами,
и ладони я стёрла, до ран они стёсаны!

В Херсонесе очьми болен был Князь наш солнышко:

– Ах, ты лапа моя, моё пшениное зернышко.

Собрались из Корсуни епископ, священники,
возложили ему на чело руки белые.

Я-то знаю, есть таинство: в пол, чтоб коленями,
я-то знаю, есть таинство: раны горелые,
как Руси всей залечивать от чернодырья,
от русалок, от леших да от нетопырья.

О, бывое! О, русское! Если не руки,
если даже не ноги, хотя бы подошвы
целовать нам Владимира-князя, и звуки

слушать флейты, гобоя, баяна, ой, что ж ты,
ибо дождь! У меня дождь сегодня! В Днепр греться,
где народ целым миром в посконных рубахах,
это лён, это цвет, это ход, это детство,
это то, из чего родились мы – из праха!
Когда я раздвигала нутро, я рождалась,
разжимала я мамино нежное чрево:
утыкалась своей головой в её алость,
выходила всем телом из тела.
Режь держащий канат, режь скорей пуповину,
заверни меня в лён, в одеяло, в холстину!
И крести во Днепре меня вместе со всеми,
князь Владимир на всхолмье стоит, ноги в стремя,
собиратель земли нашей, вещий Креститель,
благодать-то какая, ловить сердцем время.
И ловить небо горлом! Звучите, звучите
вместе флейты, гобои, гортани, молитвы.
Я теперь поняла, что такое есмь лидер,
кто воскликнул: Живите!

На моей площади народные гуляния.
На твоей площади никого, ничего.
На моей площади – церковь, магазины, здания,
ёлки на Рождество!
На моей площади – Манежной, Театральной, Пушкин-

ской

я держу своё небо, вздымаю над головой.

На твоей площади, на кликушеской
пахнет салом, укропом, молвой.

Все дороги закрыты, залеплены,
даже летом в снегах.

У меня в груди – всё так больно сцеплено,
словно скрипки бьются, вздымается Бах.

На моей площади никаких обманов, предательств,
а тем более скоморошских, шутовских клевет,
балаганов и плясок, трюкачеств, рвачеств,
лобных мест, палачеств, казней, бед!

На моей площади – прикипает древко к рукам,
плаваются ладони, флаг держащие!

На моей площади – ни пяди не сдам.
Поднимаются даже падшие.

На моей площади – пыль столетий,
даже камни кричат, вопят, дождь – шершав.

У меня, во мне столько отметин,
столько рубцов в горле – не закроет шарф!

Я сама уже – камень моей площади, я сама её пыль,
я сама её часть, масть, её страница!

Моя площадь – площадь Горького, что изверг «Извер-
гиль».

Моя площадь мне снится!

На моей площади я столько раз падала, сдирала колени в

кровь,

попадала под колёса машин, под колесницы, под артоб-
стрелы,

на моей площади плакала Ярославна над обрывом без
слов.

На моей площади я сама чуть уцелела.

На твоей тоже не лучше – весь Калашный ряд,
баяны, валторны и хор из Уреня.

На твоей площади тебя из рая изгоняют в ад.

И поэтому я – к иконам, и поэтому я – на колени!

«Смилуйтесь все!» – а там герб, что с оленем.

Герб городов Ростова, Гродно, эмблема Альзона.

На моей площади, которая выросла мне в грудь,
во все её плачи, смыслы, во все её стоны
так, что не вдохнуть!

С моей площади провожают солдат,
с моей площади, как с Ромодановского вокзала:

все его помнят. Но его нет. Адресат
вынут из списков, реестров, овалов.

На моей площади иконы кровоточат.

Лупит солнце. Цветут магнолии и абрикосы.

На твоей площади тоже цветочный чад.

Хочешь, в ноги паду? Хочешь, оземь?

Хочешь, про бусы поговорим, хочешь про платишко изо
льна?

На моей площади, на твоей площади не вырваться из кру-

га.

Но один у нас город и площадь у нас одна:
мы стоим в полшага друг от друга!

ЭМИГРАНТУ

Выши корни кровят. Вы уехали. Корни остались.
И вопят они. Слышу: в них всех Ярославн бьётся плач.
Эмигрантский хлеб слаще? Белей эмигрантское сало?
Может, мягче калач?
Убивается в вас серебро. Вымывается ветром Чикаго.
Что осталось? Очки и овечьей подкладки пальто.
Неужели не снится поляна? О, сколько здесь ягод!
И дождей! Этих русских небес решето?
Но мне больно за вас! Ваши корни кровят. Бьются в эхо.
Одного я хочу, чтоб запомнили вы среди зимы:
не продажны мы – русские, хоть нам торги не помеха,
не злобивы, хоть вспыльчивы. Думают сердцем умы!
Нас не вызнобит, не выторнадит, хотя мы
пасть готовы в борьбе! Мы готовы в огонь, коль горит!
Пусть у нас недочётов полно, тарарамы
так и лезут повсюду сквозь тьмутараканий гибрид.
Пусть любви недостойны, ни жалости мы, ни пощады.
Да и нам не нужна ни пощада, ни жалость ничья!
Мы по-Блоковски – скифы, мы – ватники и колорады.
Но в нас столько живёт справедливости!
Мамочки! Я

на расстрельном мосту. Ибо корни, как вы, рвать не стану!
На распятыи креста – ибo гвозди Христа сквозь меня!
На Голгофе – вот я! А когда поглядят в мою рану:
там Россия моя! Прометеева плавка огня!

Отречение от зла! Примирения страсти. Прощение.
Помощь слабому! Неосуждение. И то, что вы – брат,
заблудившийся! Купленный! Но всё равно, тем не менее
хватит Каина спрашивать: «Где же?» Коль всюду набат!
Мне молебнo, иконово нынче, о, Боже, как мироточиво!
Грудь наполнена дымом Отечества! Слезы – со щёк!
Верю я в русский мир. В русский корень – он велеречи-
вый!

А иначе во что же, иначе во что же мне верить ещё?

НЕБО

Пересотвори, Господи, этот мир снова!
В жарких пальцах белую глину сжимая, катая.
И опять воскричи, что вначале всего было Слово!
О, какая в нём мощь – золотая она, вековая.
Я живая лишь ей. Я одною лишь ей умираю.
Воскресаю. Болею. И вновь оживаю я ей.
В ней кометы.
В ней звёзды.
В ней крики над бездною, гравий.
И грохочут в ней камни для сбора отчизны моей.
Для создания нового неба, созвездия, века

разминай эту глину, все комья в песок разотри!
Для создания нового первого вновь человека –
совершенного!

Чистого! Светлого!

Сердце – внутри!

Он твой будет гран-при! И твои январь. Лёд и пламя!

Ничего, что на пальцах уже волдыри, синяки.

Но он в небо взметнёт алый парус. И лик Твой! И знамя!

И все раны залечит. И язвы, где шрамы на шраме.

В букваре он напишет про маму! Про блики на раме.

И не будет бедлама. Рекламы. И срама на сраме.

И не надо к добру пришивать никогда кулаки.

Заживём по-людски!

Моряки, рыбаки, что на Волге.

И пусть – Горький Максим. И пусть будет Прилепин Захар!

И пускай человек – это мудро! Вселенски! И гордо!

И на Данко пусть мода. И на Карамазова мода

на того, кто Алёша, ему-то, действительно, орден.

Или всё же я брежу?

Горячка? Ангина ли? Жар?

В «Зимней вишне» пожар. Убивают. И гибнут. И чахнут.

Всюду взятки берут. Любодействуют. Грабят народ.

Замурованный вопль мой – в пласты, в поднебесье и в шахту.

И никто не услышит. Никто не поймёт. Даже тот,

кто понять меня должен. А кости мои – тоже глина,
даже мускулы – глина. Хребет мой. И мой Прометей.
Если сверху смотреть:
что травинка, что я, что рябина.
Я хотела кричать. Но – горячка. И, всё же, ангина.
Пульс – за сто.
Крик – за двести.
А стих – моя мина.
Подорвусь.
Разметаюсь.
На личной я мине своей...

Никогда не случится такого, чтобы в мою честь играли
скрипки,
чтобы рыдали, заливались от радости слезами, растека-
лись в улыбки.

Воскресали звуками, восходили нотами, особенно это тя-
гучее, дзинькающее «ля».

Можно петь для бабочки с тонкими крыльями.

Можно для неба.

Можно для моря.

Для тебя, земля!

И ещё я хочу, чтобы были люди рядом. Друзья.

Бывшие, нынешние, настоящие. Где-то рядом, порхаю-
щая, я.

И чтобы в крылышках ни одного пореза, надрыва,
ни одного пораненного пятнышка, ни одной сбитой пы-
линки,

вывихнутого кружавчика, выломанного ребра. В архивы,
в реестры, чтобы было внесено одно:

в её честь звенели скрипки! Переливались, целовали до-
ждями её окно.

И чтобы пальцы девичьи смычок держали. И чтобы в лаке
– ноготки.

И звуки тонкие, прозрачнее вуали.

И звезды погасшей, умершей в реке родниковые огоньки!

И ты – уста, касанья руки.

Бег строки.

Не убивай эту бабочку.

Побереги!

Моё мировоззрение. Я не могу от него отречься.

Могу лишь растечься рекою в него.

Моё мировоззрение, как дом без крылечка,

скала отвесная, накипь снегов.

Как вена рваная в него плещет память.

Вспоминать больно. Не вспоминать больнее стократ.

Если бы живою была, что сказала я маме

про то, что случилось, и кто виноват?

Что продан завод. Разорён комбинат.

Я слова свои беру – выкорчёвываю.
Но остаётся основа, позвоночная кость,
из которого весь образ, как белым по-чёрному,
словно в ладошку гвоздь.
Так в меня моё мировоззрение вточено!
Ввинчено, вбито, вколочено. Я и сама уже – в ключья.
И сердце – в ошмётки, в куски.
Но слышится дальше: «Доченька,
не предай! Сохрани! Не разбей от тоски!»

Божьих заповедей – десять.
Материнских – вся жизнь.
Моё мировоззрение – мой панцирь.
Я его отрастила, как песню.
Я его обточила до призм,
до космических, звёздных субстанций!

Мамочка, мамулечка. Я за него держусь.
Я – над бездной. (О, не сорваться б!)
А руки соскальзывают. Ветер пронизывает. Хруст
слышится пальцев. Захожусь, словно в бешеном танце.
Не отрекись! Всё равно не прогнись! И не сдамся!
Ни власти. Ни горю. Ни бедам. Ни улице!
«Глагол с глаголом – кричу – не рифмуется!
Участие в конкурсах – преступление!

Не надо медалей. Ни грантов. Ни премии!»
Моё убеждение. Мироззрение
превыше всего. Не уйти. Не укрыться.
Не выскрести мне из себя, словно принцип.
Оно приросло, словно к коже рубаха.
Я слышу, хотя я оглохла до Баха.
Я вижу, ослепнув почти до Бочелли.
И не отрекись на кострах. На расстреле.
Родная моя! Моя лучшая в мире,
не бойся, о, мама, мне ноша – не гири!
Не тяжесть земная! Не камень. Не плаха.
Возренье, как мирозренье. Паренье.
Спасенье

Хотя бы издалека, через фейсбук, через строчки проре-
женные

просто не могу налюбоваться,
через эти туманы, дымы бежевые
через вк, стихиру, как песок сквозь пальцы.
Через портал Светланы Скорик,
через друзей узнавая новости,
нанизываю их на сердце, штормящее, как море.
Если бы могла, то проникла сквозь лопасти, полости
твоих библиотек, как Татьяна Ларина, выискивая
«черты его карандаша». Его – в смысле Евгения Онегина,

страницы перелистывая, твои зоны, твои списки, риски и рифмы, публикации, теги.

Прислонясь к твоей Альфе, Омеге,
выполаскивая твой мерцающий контур в небе,
думая, вдруг пригодится тебе моё знание, понимание, со-

средоточенность, подписки
на лейблы,

разглядывание твоих медалей и значков.

Если некому, то я могу тобой восхищаться,

быть поддержкой, опорой, жилеткой, сверяльщицей часо-

вых поясов,

выясняльщицей причин. Могу быть твоей папарацци.

Могу находиться поодаль. Вблизи. Под рукой.

Когда ты слишком пьян, могу подвозить тебя к дому.

Если мне бывает трудно справляться с тоской

по тебе без тебя, по тебе и с тобой.

всё равно я кричу тебе: «Слушай, не вой,

сама виновата, что с головой

в омут!

Ещё шесть лет тому назад, бросив мужа,

который бы тебя никогда не бросил,

который тебе вечно прощал столько измен – в солнце, ве-

тер и стужу,

в суровую осень...»

А затем, когда с любовником ссорились, обижались, расставались

до криков, кровоточащих дёсен,
то я слышала, как рвались-пузырились оси.

А теперь я себя спрошу, что ты хочешь? Просто коснуться
губами его ран?

Которые сама же ему нанесла.

Сколько их шесть? Восемь?

Или больше тысячи? Что ты хочешь, орден, поощрение,
грант?

Или пан, или пропал, твердишь, прости меня
последний раз. А надо сказать, не прощай меня, закрой
двери!

Поставь решётки. Замки, железного льва и коня.

И не верь мне!

Прогони. Верни туда, где мне привычно,
выгодно. Где зарплата мужа.

Стабильность. Дом. Куча мелочей личных.

Сад. Огород. Бабло. Ужин.

Не подноси к огню спички.

Не поджигай меня, как чучела Маслениц, Кострому,
не втягивай в хоровод возле кучи хвороста, дров, сухо-
стоя, травинок.

Я же всё равно потом ничего не пойму.

Буду ходить, как мёртвая после своих поминок.

Не смею спрашивать, за что

Господь послал мне испытанья?

Иду, шатаюсь. В решето
дождём пробито небо. Ранние
здесь звуки блёкнут в тишину.
Здесь речи гаснут прямо в горле.
И если я сейчас вздохну.
Или дождинку я слизну,
или слезу одна в одну
по цвету, запаху и соли
из этой занебесной боли.
Итак, за что мне испытанья?
За то, что я грешна, слаба,
за то, что фобии и мании,
во мне любимого касания
растут, как будто бы хлеба.
За то, что где-то в выси, там
богоподобного от века
создать пытались человека,
чтоб он был чист, чтоб он был прям,
нет, невозможно! Я – пыль, хлам,
умеющая плакать в рифму,
читать у Блока: «Да, мы – скифы!»,
крошить в куски шершавый грифель.
Стирать. Рожать. Рубахи шить.
И губы в кровь кусать: «За что же
мне это испытанье Божье?»
Как отрастить на сердце щит

непробиваемый? Ни пулей,
ни словом злым, ни долей-дулей,
свинцовым камешком пращи!
Выслёзываю! Как не плакать?
Выплачиваю! Сотни плат
вдвойне, втройне из прежних пагуб,
ошибок, пустозвона, звяка,
шестых палат. Седьмых палат...
Меня мои стихи казнят!
Распнут! (Венец терновый, гвозди!)
А я хотела – лавры, розы,
а мне Сальеревый лишь яд
на завтрак, на обед, на ужин.
За что же это? Ну же, ну же
скажи! В упор, в глаза, во взгляд...
А ночью – сон. Из сонных крошечек.
Я слышу, как вбивают гвоздь
опять же в Божию ладошку.
Всё также грубо. Больно. Вкось.

Есть такое поле битвы, где не свистят стрелы,
не танцуют танец смерти перед началом боя.
Отчего, я не знаю, но вхожу я в его пределы
и слышу дробь барабанную, звуки гобоя.
Я, как будто проваливаюсь в звёздные дыры,

я как будто впадаю в их тугие ритмы.

И сколько я не балансируй, иронизируй, не формулируй,
всё равно оказываюсь я на поле битвы!

Между злом и добром, между кривдой и правдой,
с графоманами так вообще устала бороться!

Этот вечный конфликт у реки Непрядвы
и пророчества Блока про тесные кольца.

И его «кобылица» с тугими копытами,
и его «ковыль» перемятый до крови.

О, как выживать мне, охваченной битвами?

Как спасти свои села? Равнины? Устой?

Все вырваны у меня кирпичи Карфагена!

Все выкорчеваны из меня Трои!

Да и сама я и смертна, и тленна,
хотя никогда не сдаюсь без боя!

Где мне взять столько оберегов?

Где мне взять столько оригами?

Графоман – он вообще хуже печенег,
особенно если этот графоман с деньгами!

Сколько раз я кричала «иду на вы»,

сколько я раз чуть не погибла в схватке?

В конфликте «отцов и детей», в конфликте против молвы.

Слагала молитвы, стихи я, октавы, токкаты, колядки!

Исходила истериками. Истекала слезами.

Выходила после битв полумёртвая, как после аборта.

Как будто рассталась с любимым, с которым срослись

хребтами,

(хлебами, крестами, песками,

столетьями и полостями,

маслами и хрусталями, глазами, лесами, словами, сердца-
ми!)

Рассталась в разрыв аорты! Растёртой!

Размытой в пески.

С переломанным панцирем.

С девизом: всё, что меня не убило, сделало сильной.

И снова в битву. Словами, улыбкою, кварцами.

Сама себе киллер!

Сама себе длинношёрстый белый клык.

Сама себе утонувший «Титаник»,

на который купила билет подешёвке на материк,

и вот теперь в битве с айсбергом один на один в океане!

О, люди мои! Хорошие мои! Любимые!

Я вас так люблю, когда у вас камни в кармане.

Вот я вечно хожу обличенная и судимая! Уязвимая!

Вырванная из космической ткани!

А графоману? Что ему? Он ещё – графоманней!

А ветряным мельницам? Что им? Каждой лопасти по Дон
Кихоту!

Каину – по Авелю. Данте опять хоронить Беатриче.

Но, видимо, я не смогу оставить мою работу:

делать мир чище!

У меня отобрали родину.

Но не ту малую, а огромную, большую. А малую оставили.
Кроху. Речку, смородину.

Сначала появились Мавродии.

...Я впадаю, впадаю во зло до последнего вздоха. До последнего выдоха.

У меня на сердце ожоги и вывихи.

Переломы. Дороги

мыслей раздавлены, вдавлены. А вокруг появляются то секты, то танцы, то йоги

притягивают, заманивают. Гвозди – в раны мне.

Персты в небо. Им что: они проплачены

кем-то свыше. Они стаями, пачками,

сладкими речами, увещеваниями. А мы – русские доверчивые, уши развесили.

Слушаем. Верим. Продаём квартиры. Несём деньги.

Овце-бараньи у нас замашки. Порваны обереги.

Ой, пожимает плечами правительство. Трали-вали.

А мы и не знали.

Истово

и по-старушки божится. Сами, мол, виноваты поверили Кашпировскому. Голова из ваты.

Из опилок. Из душистого, соснового,

хвойного. И всё по-новому.

А где же родина? Где же флаги красные?

Все мы целиком, с землёй, континентом, детишками проданы! С сердцами атласными.

Шёлковыми. Ситцевыми. Штапельными.

Родина! Я по тебе скучаю, умираю!

Твои сосульки, как свечи на паперти
огоньками вниз мне светят. Тянутся клювиками, слюнки
капают.

Разрывается грудь...ну, как же мы так, прошляпили?

Я помню своё стихотворение детское.

Где я предвещала: «И разделят на части!»

Так и случилось: дым над Одессою.

Вороньё. Смерть. А Запад нам: Здравствье!

Сами хотели. Окно в Европу
ещё тогда при Петре Первом.

Так зачем теперь крик. Шёпот. Ропот.

Не треплите нервы.

Вот опять новое: цена на бензин зашкаливает. Пенсионная катит реформа.

А я сижу у порога: родина моя! Дорогая. Небывалая! На уровне шторма.

Кровное моё. Родное. Русское-русское поле.
вот скоро доберётся и сюда вороньё!

Раной больше, раной меньше, посолит солью.

И сверху добавит перца.

А когда разорвёт сердце (инфаркт, инсульт, рак, спид, гепатит),

у меня родины – дефицит!

Чем, чем я тогда утешусь? Как я лицо оботру рукавом в слезах? Как рухну грешно?

На колени? Сумасшедшая. Дурочка. На стихах помешана.

Иди-ка ты в прогулку пешую,

возьми дудочку. Выскреби из себя звуки.

А я тяну к Богу руки!

Заново создай землю, небо, твердь,

умоляю тебя, Родненький,

маму, отца, СССР –

мою бывшую родину!

Пахну розовым яблочным праздником Спаса.

Мне сегодня родить. А рожать все боятся.

Век двадцатый. День – вторник. Смысл солнечно лёгок.

В девяносто шестом на дорогах нет пробок.

Но меня догоняет Чернобыль с Афганом,
разбомблённая Ливия за океаном.

Аномалии душат звериною хваткой,
разрывают меня коноплёвой взрывчаткой.

– Доктор, доктор, скажите! Живот мой огромный,
он для сына приют, колыбелька и дом он.

А ещё вспоминаю я тюркское племя.

Роженице всё можно. Когда не в себе я.

Когда, в околоплодных барахтаясь водах,
сын готов народиться.

Афган и Чернобыль

мне в затылок дыханье струят грозовое.

Душно. Душно мне, мамочки! Я волчьи вою.

Говорят то, что тюрков в волках зачинали.

Я кричала, вопила про смесь аномалий
и про эту, про генную связь мифологий.

Доктор и акушерка держали мне ноги.

И родился родимый! Мой тёплый комочек.

Оказался с врождённым недугом сыночек.

А затем, как подрос он, о, солнце-светило,
от врача ко врачу я с сыночком ходила.

Говорили: не плачьте. (Я с сыном в дежурке...)

Про Афган, про Чернобыль, бросая окурки.

Помню, как я бежала в аптеку под утро,
чтоб лекарство купить, ног не чуя, как будто.

Мои тонкие ножки, почти что синичьи
исходили полмира, ища, кто обидчик?

Иль Чернобыльский Гоголь? Иль тюрка волচারы?

Мой сыночек, клялась я, мы вытравим чары.

Мы в купели покрестимся Новгородской.

Мы в пыльце искупаемся в ночь на Слободской.

На Ямщицкой ромахе мы да на анисах
возрастимся! Плевать мне на сок кок-сагыза!
Да в Уралах моих зацветут черемисы,
да в Якутиях снежных забредят маисы.

Ах ты, турок-сельджук, гагауз ты волчиный,
как ворвался ты в гены мои, неотмирный?

Половецкое чудище! Выморок жабий!

Я целую сыночка, я вою по бабьи.

Прижимаю. Ласкаю. Я голову глажу,
его тельце обвив по-синичьи, лебяжьи.

Ничего, ничего, всё поправим, любимый,
а глаза мои ест соль горячего дыма.

Иногда на луну выть мне хочется... Я же

в Спас молюсь. В Спас крещусь. Становлюсь всё отваж-
ней.

Не хочу я искать ни вины, ни обиды.

У других ещё хуже, сложней – плазмоциды,

у других ещё хуже – рак, немоть и спиды.

– Доктор, доктор, скажите... Стучусь, как синица.

Становлюсь словно ток, что по венам искрится,
двести двадцать во мне, что помножено болью.

А я мать – прирастаю своею любовью.

Если жизнь я смогла перелить свою в сына,

значит, больше смогу. Ибо связь – пуповинна!

И кометой взвояюсь в Галилеевой пасти!
Стану пеплом у сердца, как в песне, Клаасней.
Сорок неб изгрызу. И созвездий полярных.
Помоги ему, Господи небесноманный!
Из невзгод всех достань сына да
из напастей...

Родина! Дай мне радость за тебя умереть,
как Мозговой, как Захарченко, Космодемьянская Зоя,
маленьким семечком, зёрнышком лечь в тебя на заре
в сцепление трав, корешков, глин – в правильное такое.
Родина! Твой перламутровый вещий язык
сладкую, терпкую ложкой варенья
спелых смородин, брусник и клубник
в ядрышках, в сочных изюмных сплетеньях
ты выколдовываешь на устах.
Если уста свои в трубочку, если
в песню, в улыбку, в прищёпот, в цвета
полупрозрачные сложу я вместе,
то всё равно будет сладость твоя.
Кто поцелует меня – усластится
речью! Я льстила бы в тон соловья.
Родина! Я – соловыха твоя:
соло я ткущая. Я – поляница!
Я же не только коня на скаку.

Я же не только в горящую избу!

Сваха, наузница и перуница,
плакальщица, медсестра и частица
княжьих щитов супротив, чтоб врагу,
нападающему на отчизну!

Родина! Капитализма плюс социализма
(простите, за эти из учебника взятые, люди, фразеологиз-
мы),

родина, ошибающаяся, кающаяся. Златокожая!

И всё равно ты всего превыше.

Ты – моя Божья!

А вот за это мне, худосочной,
всего-то 66 кг!

Уж, какой родилась! Белокурой, загорелой, правильной
дочке

в рубашке телесной, в кружавчиках, ночью
в Уральской дремучей кедровой тайге,
возросшей на шаньгах да на твороге,
на сказах, на птичьем пуху, на яге,
о, как я люблю тебя родина очень!

Короче. Все стихи мои о тебе,
хочешь выброси. Хочешь
разбей.

Родина! Любимая, солнечная. За тебя в борьбе,
за твою чистоту. Твой язык, за твои добрые, материнские
очи!

Всех не любящих меня, люблю! Люблю!

Всех не любящих меня, благодарю я!

Дай мне руку эту гордую твою:

нынче я, как продолжение поцелуя!

Нынче я, как продолжение любви
этой детской, Божеской, вселенской!

Ты мне сердце стрелами кормил,
жизнь мою давил в кисель повидл,
словно мякоть яблок Карфагенских!

Словно виноград меня – в вино,
под ноги! Плясал и хохотал ты.

И хрустели косточки, где дно.

В колыбельке плакало зерно,
прорастая сквозь асфальта гальки,
книг твоих ненужных через свалки,
кости мои битые, сукно.

Левой, правой – щёк не жалко мел.

Рук не жалко для твоих гвоздей мне!

Сорок неб в груди сожгла своей,
истерзала снег белым белей

не в раю, не в парке, не в эдеме!

Ничего теперь не страшно. Бей!

Коль теперь я доброго добрей,
русской сказки дольше, где Кощей.

Ты кричишь «аминь», а я «прости»,
намывая фразы из горсти,
из чистейших, из хрустальных, из
нежных лилий да из ран святых,
смыслов, рун, объятий, лунных риз.
Синяки-ушибы мне – цветы,
переломы – это смысл расти,
перемалыванье в жерновах,
в мясорубках, гильотинах, швах
для меня не фобия, не страх.
Для меня всё это – есть любовь.
Я срastaюсь из своих кусков,
островов, земель, морей, песков,
как учил в апокрифе Иов
для иных бесценнейших миров!
В антологию предательств мне твою
не попасть. Ты имя перережь
острой бритвой. Баюшки-баю,
пред тобой без кожи, без одежд.
...Но люблю!

...И вот тогда мои прозрели пальцы!
Я так хотела выбраться из снов.
Как я смогла так крепко вмуроваться
в века иные, в камни городов?

В их всхлипы? Пеплы? Карфагены, Трои?
В до христианстве песнь пою Эллад!
Ищу себя везде: где травяное,
древесное моё, моё речное?
Земля земель? Начало. Фразы Ноя
я перечитываю: как они звучат.

Как не шадят, как попадают в прорезь
высоких гор, впадая в Арарат.
Всё, что моё: предметы, вещи, пояс.
Прозрели руки! Зрячим стал мой голос.
Земля моя прозрела, дом, мой сад.

Раздвину камни. Из груди – все плачи
я вырву с корнем. С горлом – все слова.
А это значит: руки, сердце – зрячи.
Что я жива!

Нам, пережившим лихость девяностых,
теперь уже не страшно ничего!
Всех пирамид финансовых коросты,
всех бед, всех Лонго, магов, Кашпировских
несметное число,
в тех пирамидах не сыскать хранилищ,

нет мумий там Египетских святилищ.
А золото-то где? Тогда купились
мы все! Народ – полуголодный, бедный, злой,
вдруг нате дерзкий вам журнал «Плейбой»,
а мы одеты все в едином стиле:
фуфайка, стёжка, варежки, платок,
а нам – стрип-бары, девок и джаз-рок,
игру в рулетку и удар в висок,
и статуи братков, что на погостах.
Нам, пережившим лихость девяностых,
ужели это не урок? Не впрок?
Чем жил народ тогда в плену бескормиц?
Упорный мой народ он жил, не горбясь,
кто в лес, кто по дрова, кто по грибы,
кто челноком до Турции в Россию.
А я никак всё не могу забыть
глаза старух там, в церкви. Их простые,
их тоненькие в плаче голоса,
ползком – да ко кресту, плашмя – к иконам,
всем телом припадая, всем поклоном,
я плакала, взирая! «Так нельзя
мне биться в сердце!» – Бог кричал, наверно!
И Богу больно было, тяжело, скверно.
Там, в девяностые смололись небеса
в кровавый фарш! Смешались звёзды, луны,
смысл смыслов, все созвездья, руны, гунны,

все фараоны, бой часов и Кремль,
флажок, горнист, Мавроди, «МММ».
Но всё равно мы на земле сажали
морковь, картошку, самогон варили
и дачи строили на досках, на скрижالياх,
по сухостою, по грязи, по пыли
мы задыхались! Гневались! Но жили!
И не такое мы переживём,
налог, подлог, всех Каинов на троне,
реформу пенсионную в законе.
Люблю тебя, боготворю, народ,
всегда. Везде. Повсюду. И во всём!
Кто не сбежал во Францию, в Майями.
Не предал клятв своих. Своих щедрот
при невысоком уровне, при МРОТ
и Крым не сдал чужой Тмутаракани!
Сажай морковь-картоху каждый год!
Цеди свой самогон. Вари варенье.
Назло Европам. Бог ни над, ни под,
Он – в нас! Мы, как атланты держим свод!
И космос бережём мы от паденья!

У меня в груди плещется болью небес,
у меня, у прошедшей почти столетия,
повидавшей исход, коммуналки, собес.

Мама, папа – любимые! Что мне ответить?
То, что оси полопались вдруг. Навсегда.
Словно бы под завалами рухнувшей родины,
я истошно кричу. Под ногами вода.
Под ногами звезда – её отсвет смородинный.
Словно бы я зову. Но не слышит никто,
неужели опять все оглохли Бетховены?
Во все глотки зову. В миллион детских ртов:
мама, папа! Любимые! Мы похоронены...
Девяностые годы давно позади,
как и годы прошедшие, шестидесятые
и Конец Света вывалился из груди
вместе с детскими клятвами.
Выползаем мы из-под завалов. Меня
пригвоздило осколком былого навеки
к высшим смыслам! Целуя, терзая, казня,
вот такое со мной – в полымя из огня,
я, как дерево, чьи кровоточат побеги.
Мама, папа. Любимые! Как вас обнять
мне хотелось бы нынче, но руки остались
мои в крыльях былого, а корни – в корнях,
я других не содеяла капищ, ристалищ!
Я иного себе не смогла сотворить
кроме этих осколков, мне ранящих остро
всё нутро моё: вечность, язык, словари
и волхвов к Иисусу святые дары.

О, как я бы хотела побольше геройства!
Ибо я же клялась, как и все мы клялись,
видеть высь! Помнить высь!
Я молю: помолись,
чтобы мир этот Каинов канул в пустыню,
чтобы он возопил: «Я не сторож!» И минул.
Не во имя меня, моих деток во имя,
то есть внуков родителей Божьих моих.
Ныне, присно и днесь буду петь песни давыи
да про остров-Буян! Буду родину славить
до разрыва аорты, до спазм горловых.
И не сломишь меня! Я вцепилась в осколки.
Я мостом пролегла, ибо крепкая, с Волги!
Удержат, чтоб осталось тот мир, что разверст,
мама, папа! Любимые!
Землю.
И крест.

Из цикла «ПЬЯНЫЕ КОРАБЛИ»

1.

Не бывает поэтов ни белых, ни чёрных,
не бывает поэтов слабых, никчёмных.
Есть лишь – поэт.
Или же – не поэт.
А остальных нет.
Развенчайте меня. Не войну объявляю.

Белый флаг кладу в руки. Бросаюсь к роялю.
Говорят, что поэты – всегда шизофреники,
алкоголики и обличители. Гении,
путешествующие в пространстве и времени,
словно птенчики.

2.
Байрон. Англия. Жёлтый туман над водою,
«Чайльд-Гарольд», словно нож над твоею бедою.
Два бокала вина. Кофе. Карты. Разлука.
И погибель в восстании, что против турков.
Раздвоение личности?

Сколько нас, тысячи?
Дорости до безумия! Вырвись, калеченый,
как на дыбе мужик: голова без предплечия.
Ибо боль вся внутри. Дыбой схвачен рассудок.
И увидишь молочное, млечное чудо
янтарями хрустящими. Литература –
это бой. И летит убивать пуля-дура.

3.
Это Бродский – последний поэт во вселенной:
Николай Чудотворец на пряжке военной.
Две недели в психушке в стенах Петербурга.
Все поэты, как крик на картине у Мунка.
Не хочу я работать. Хочу, чтобы деньги
просто так мне платили без всякой оценки,
без медалей и грамот – у Пушкина нет их.

У Есенина и Маяковского тоже.

Да плевать мне на премии, прении, вожжи!
На оценку моих современников! Пенки
всех архангельских труб! Изразцов на коленке!
Государство, плати по вселенской расценке:
морем бед,
морем слёз,
всем пожарищем сюрра.

Как же больно от слова мне: литература!

4.

Что тебе моё Слово в страстях, о, Галлея!
Разруби моё сердце, чтоб не было сердца!
Вот священник Владимир. Грешнее, святее,
но пока я вот здесь, но пока на земле я
чем мне греться?

Обжигающей болью от кардиограммы!
Её образ и почерк с приплеском пожарищ...
А поэт – он иная субстанция, манны –
ей товарищ!

5.

Все поэты, как дети. Обидчивы и жестоки.
Ради слова они человека карают!
И в проклятья сдвигаются. Ибо им створки
приоткрыты в иное. В межмиренное. Краем
между Вакхом и Бахом в органы и оргии.
Я впадаю, безумная, в Миргород Гоголя,

в микрокосмосы Гашина, в тени бесстрашия.
Ибо «Красный цветок» про меня! В рукопашном я
пропадаю бою. Войны литературные,
что ветрянка, под сорок два с температурой.
Если словом по темечку, как арматурою
два водителя насмерть дерутся. Ажурными
их плетеньями трудно назвать! И коклюшками
вологодскими вряд ли, они – пампадурные.
И бездушные.

6.
Я к тебе всем восторгом Марины Цветаевой.
Ты ко мне, как Ахматова, пренебрежительно!
Виноватей я всех невиновных! Обхаяна!
Караванными лаями!

7.
Так вспори своё чрево.
Иди ты к знахарке. Сделай аборт.
Поэт аномален особенно первый.
Достоевского «Идиот».

8.
Но есть светлый момент. Например, Нобелевка,
от которой откажется Пастернак.
Или Пушкин, убитый Дантесом. Родина,
как же так?
Альфа-Центавра, где есть человечество,
там есть поэт – на тебя он похож,

голову класть чтоб на плаху вечности
да под нож!

Я – не поэт. Поэтесса. Мне проще.

Мне под топор всей берёзовой рощей.

Я уже делала так ради Слова.

Но моя роща возрастала бедово.

Это – Елабуга и Е. Благово,
родина та, что была кумачёва,
но на осколки рассыпалась силой.

Ими меня – на куски – распрямило.

Моя дочка... игрушки твои – слон, медведь,

неужели они повзрослели с тобою? Закончилась четверть,
нет, не школьная четверть – столетья! Которое петь.

И любить блёклый свет через шторы, сквозь шорохи, вет-
ви.

Моя дочка! Красивая! Как объяснить, что война?

Мы росли сквозь неё. Мои деды.

Гляжу на игрушки:

эти пуговики-глазки, пушистые комышки льна,
черепашки, зверюшки.

Сохраняю, как будто себя я в тебе, потому
мне казаться охота добрее, правдивее, лучше.

А иначе нельзя. А иначе мечту отниму,
заменяв целый мир на шершавые, злые колючки.

А в душе я – ребёнок, дитя. Словно младше тебя,
и поступки мои... Но зачем тебе знать про поступки?
Пусть кому-то стихи, песни, книги. А мне всё – судьба!
Если б знали они, что такое: на сердце зарубки!
Если б знали они, что такое живое зачать,
человечье, как будто ребёнка бы первого, слово.
Слово-песню, молитву в кровавый, обугленный чад,
чтоб внимали! Весь люд, старики, ребяташки да вдовы.
Как я кланялась им! Как глядела во весь этот зал:
рук узлы,
глаз подковы,
птенячии тонкие шеи,
что мне юноша в первом ряду, словно выдохнул или ска-
зал
и всплакнули старушки...
Я выживу, дочь!
Я сумею!
Глянешь, всюду – война
за престиж, за весну, свет и тьму,
за приезд «Скорой помощи», за президентские кресла.
...Ты жалеешь, как я, всех заблудших.
К груди я прижму
медвежонка, слонёнка.
Чтоб чистой остаться.
И честной.

В Рождество всё иное: мосты, берега, что ажур,
Рождество просочилось в нас через планеты, сквозь кожу.
Вот вяжу ползунки я, носочки из нити вяжу,
сын родной мой – наш, твой, мой, сын Божий!

Как же можно так, чтобы беспомощным, чудным маль-
цом?

Как планету спасти можно, чтобы младенцем? Как мож-
но?

О, виденье моё! Там, где в дивном бесстрашье крыльцо,
белоснежные овцы. И нити! Их отсвет крепёжный!

Не из них ли вся пряжа моя? Да, наверно, из них.

Не оттуда ль клубочки из шёлка, из шерсти старинной?

У тебя, ах, кровинка моя, этих дней расписных, пресвя-
тых,

у тебя – именины!

Нынче мир, словно замер. Нет места вражде, дележу,
если в старом сарае, пронизанном ветром, родился:
пеленает Мария младенца.

А я вот вяжу,

словно морду овечью ласкаю, кудлатое рыльце.

Словно тычутся в руки зверята. Пронизана ткань
всего мира неведомым, сладким, тугим Вифлеем

Не убий!

Не кради! Возлюби! И так больно не рань!

О, спаси нас всех Сын Божий мой! Он – сумеет!

Что кричишь ты, народ? Возвещая, идут пастухи.
Мы – потомки волхвов, пастухов, возвещателей. Ибо
все с дарами сегодня. Здесь запах миндаля, ухи,
чеснока, мандаринов и жареной с зеленью рыбы!
Что толкаешься возле яслей? Восходи на крыльцо.
Погляди на младенца. Как грудью он кормится, как он
предваряет о жизни превечной! Целуй же лицо,
эти пальчики, ножки!
Небесно. Земно. Безвозвратно.
О, не стой. Не студи этот хлев, этот вещий сарай.
Вот учусь из молитвы выплакивать слово «спасибо».
А из боли вынашивать вещее это – воздай!
А иначе – погибель.
Целовать и вдыхать из прогрызенной мякоти неб
невозможно родное сыновье любимое тело.
А за окнами снег. А за окнами снег оголтелый.
Очертанья, что вплавлены, контуром в тёплый вертеп.

Когда идёшь в одном ты Крестном ходе,
причастная! По волнам городским
аки по тверди! Вместе, вплоть, в народе –
слиянная я, что спекалась в утробе
вот этой улицы. Не кинь, молю, не кинь!
О, сколько здесь порушенного было.
Мне на колени пасть у мостовых

пред куполом, пред каждою могилою
затопанной! Святее нет таких.

Обиженных, униженных, распятых
с жестяной-стеклотарой, нищих здесь
у кованых ворот, придурковатых
не счесть!

Кому-то даром. Им же всё не даром.
Кому-то грешно. Им безгрешно в старом,
немодном одеянии ночь-днесь.

Мы все в единой массе. В Крестном ходе:
над куполами птицы в хороводе,
сороки, сойки, голуби, грачи.

Молясь, молчи!

Я – бедная сегодня,
я – публика твоя, мой Волжский ход!

Здесь море-океан, Ока и Волга
сливаются, сцепляются в приплод.

Кто с детками, кто просто так, кто с мужем,
я лишь песчинка, комышек я – суши,
в скирде иголка!

Но здесь с тобой, рабочий люд, но здесь с тобою.

Молотобойцы, рыбаки, ткачи, вахрушки,
две стриптизёрши да малец и дед с козою,

ещё актриса, говорят, она с шизою,

но мы все братья, все мы сёстры – кольца суши!

На этом море. Море белом, разливанном.

На Антарктидовом. На Китежградье вместе!
Подставь ладони для своей небесной манны,
целуй нагрудный, под рубахой гретый крестик!
Да, публика я – публика из публик!
Но мне так лучше со иконами, не тесно,
чем восседать так одиноко без возлюбья
в ряду, где кресло!
Но если честно, если честно, если честно
вот скоро всхолмие. Нам, выжившим от века,
пересказать вот в этом чохе, в этом звоне,
пересчитать потери наши в беззаконье,
держа в руках не похороненное древко!

Без патетики, без битья в грудь,
без ужимок, без клятв, понимая, что не существует чуда,
открываю я двери, как у Шекспира: «Быть?», разрешаю я
– будь,
замыкая на сто замков, на сто ключей я рассудок.
Да, впрочем, он и так отключён.
Это всё равно, когда позвали сто умных людей и одну ду-
ру.
Мне бы просто уткнуться в такое родное плечо,
ежели не потушен, то потушить твой окурок.
Я из тех, кто коня на скаку, что в избу горящую.
Да, что там изба? Горит цивилизация вся,

красный сон, Книга Красная подожжена. Мы обрящем ли?

Возвернём ли, что было? Остатки времён, вознеся?

Возвернём ли? О, как мне забыть незабвенное?

О, мой незабываемый!

Вообще не выдалбливаемый!

Вообще не вымуровывающийся.

Не вымываемый, не «Титаник», хоть с айсбергом один на один.

Вот сижу, кулаки прикрываю коленями.

Щёки алые, жаркие, в подреберье адреналин кatabолический! Звучит так празднично, а это просто – гормон!

Звучит, как Дон-Кихот Ламанчский, как посёлок Окский, как остров в океане Буян,

как Баян, поющий песни боярам, как в посудной лавке слон,

он звучит всячески. Будь сегодня пьян.

Будь безволен. Будь безкостен. Без мышц!

В апокалипсическом припадке любви.

Не таким, когда ты начинаешь размышлять, говоря, у нас нет будущего.

Оно у нас есть и было, ещё когда динозавры бродили, до них, когда ещё Юрий Лившиц

не создал бессмертное: «Ту ещё!»

Я ни дня не могу прожить, чтоб не прочесть Ахмадулину,

Александра Боброва, Владислава Артёмова, Хатюшина,
Щипахину, Федина.

Иногда по ночам я брежу Тверью, Тулою:
они закипают в груди у меня – самовары медные!
Конечно, мне надо исправляться. Меняться. Становиться
цикличнее.

Хитрее, если хочешь.

Хватит уже этой прямоты. Нынче же
поумнею. Ночью!

Наберусь терпения. Научусь молчанию.

Все-все мысли под замок. Под дубовый засов. Бастионы.

Круги, плетни, заборы. Какое, такое венчание?

Какие такие женитьбы? Я и не думала. Голос сонный,
немного загадочный, интригующий,

пеньюар прозрачный, чтобы лишь очертания тела,
наготой сквозящий. Я и не думал о будущем.

Я и думать о нём не хотела!

Можно быть поцелованной так, словно свечи,
переплавленные в шёлк и нить золотую:

выцеловывай образ во мне человеческий,
всю слепи меня из своего поцелуя!

Эти тонкие руки мои и запястья,
а Самсоновы косы мои на подушке
разметались. Пока поцелуи не гасли,

поцелуй возжигался в Галлевой пасти,
в динозавре планеты моей на опушке.
Поцелуй – как предательство, вспомни Иуду.
Поцелуй – это блик. Выжигает он звёзды
на спине у меня. И пожизненно буду
вас прощать, перекрывших в груди моей воздух!
Поздно. Поздно...

Как дыханье «рот в рот»,
коль разбилась о скалы,
заражённой смертельно каким-нибудь спидом,
радиацией, гриппом ли, как к трибуналу
осуждённой. Судьба меня так целовала
сразу целым болидом!

Целовал нашу землю когда-то Гагарин,
целовал Достоевский, Чайковский и Репин.
А теперь пепелище вокруг стеклотарье.
Собирай её! Сборщиком будь. Сок анчаре
выцеловывай! Нет, не губами, а степью!
Все столетья
целовали меня, все, что были и будут.
Брат мой Авель – по-братски. Враждебно Иуда.
И Дантесьюшка тоже! Нацелено дуло
поцелуем всех пуль в моё чрево косулье,
в мои ноги синичьи и руки девичьи.
Поцелуй у Стены моей Плача кирпичный,
а у хлеба пшеничный.

Как меня целовало привольно раздолье,
чтоб я женщиной стала, чтоб мамой и дочкой.

Чтобы помнила иго татаро-монголов,
надевала княгини чтоб Ольги сорочку.

Чтобы чуяла, как надевают на шею,
что удавку Есенину (Боже!) Сергею.

Я с тех пор исцелована мукой кипящей,
этой раной – кто ищет, тот вещь обрящет,
обречённо, погибельно в строчках распятой.

Поцелуй, словно выстрел контрольный в упор мне.

Испита поцелуем, напоена, съята,
поцелуй – живодёрня... Но снова из корня
поцелуя расту.

И к столбу, что позорный и к земле – срезом дёрна,
рожком в горле горна.

Поцелуй, извлекающий музыку, чту.

Ничего не останется, если вдруг взрыв,
если атомный гриб разметается чёрный.

Ты прости! Белым флагом над гибелью взмыв.

Так целуют прощением спелые зёрна.

Здесь нельзя умирать от спазм. От разрыва сердца.

Здесь на осколках родины: купола, колокольни, крыши,
ветераны, учёные, учителя, единоверцы,
на осколках родины, если ты меня слышишь,

она пахнет, как Китеж!

Пахнет так, что голова моя кругом,
иногда мне чудится, что схожу с ума я!

Здесь читают Бондарева «Берег», «Выбор», здесь угол
всех небес. Аномалий.

Здесь нет кладбища попугаев.

Здесь – моё идеальное место для детства!

У меня здесь ко всем чувство вишнёвых трамваев –
подвезти, доставить.

Но нельзя, чтобы разорвалось сердце!

Понимаешь? Нельзя! Отовсюду – от этих бурьянов,
от этого памятника с вырванным именем,
как будто бы не понятно, что это В. И. Ульянов,
что по этой площади мы шли целыми ливнями,
поколением шли, а теперь оно в книге,
нет не в Красной, не в Ценной, а в Книге Оплёванных.

Если бы сохранить его кодекс, альбомы, кулиги,
буквари, календарики, письма, блицкриги.

Как я нынче взволнована.

До слёз обворована!

Как обидно, что глупая!

Повелась! Всеми буквами.

Помню, помню, как ваучер дали мне. Ваучер
обменяла на деньги. И ответ их галочий,
сине-чёрный я помню! Хоть память короткая,
как перо попугая. Помню профиль с бородкою

на монетке. На рублике.

Помню дырку от бублика.

Помню очередь. Публика

разномастная, бабушки, заводчанине с конвейера,
старики да рабочие, пролетарии прочие.

На скамейке три женщины – вот и суд весь Тритеевый!

Сапоги. Телогрейки. Куртки эпикуреевы.

Террикон мой Элладовый! Китеж-град мой запроданный!

Родина!

По гаражам мужики – пиво с воблюю.

Что кричать, как безумная про поцелуй Иудовый?

Иуда совсем не помер, он не повесился,

у него теперь пиджак изумрудовый,

у него теперь: кесарю-кесарево.

Да хоть взасос он целуйся, хоть лоно, хоть попку,

хоть упейся в слесаря!

Хоть возомни себя художником, напиши «мастерская»,

напиши сотню тезисов.

Я о другом: о масштабном, объёмном, я о другом умираю!

Тебе не понять. Меня убивает память

перебитою костью, вырванной осью,

чувствую, как из-под ног земля уходит, хрустят доски.

Оказывается, что купила билет на тонущую страну.

Я – утопающая.

Детям пытаюсь сказать, что тону,

исчезаю, как редкое млекопитающее.

А вокруг всё равно попугаи роняют пёрышки,
в них шипы, иглы, ножи колющие.

Но мне нельзя, чтобы разорвалось!

Вот и держу я последний трос.

А где Волжский откос, мне поют сумасшедшие скворушки.

МЕЛОДИИ ПРИКОСНОВЕНИЙ

1.

Рука человека, берущего холст,
которой бы гладить шершавые кромки.

Рука эта будет вбивать в руки гвоздь,
и будет нам слышен хруст косточек тонких.

Рука человека – плечо, локоть, кость...

Есть руки, которые мне целовать,
есть руки, которым проклятия слать мне.

Есть руки, которые в поле трава.

Есть руки – объятья.

Есть руки – распятья.

В Безрукости вечной Венера права!

Безрука земля.

Небеса.

Дерева!

Зачем тебе руки, побивший меня?

Толкнувший? С тех пор я хожу – ледяная!

Зачем тебе руки? Не знаю, не знаю.

Хочу, чтоб не видел Бог этого дня!
Чтоб Он на минуту хотя бы ослеп.
Чтоб Он на секунду хотя б отвернулся.
Охранник, что выбежал в холл, взял бы свет
на миг потушил. И совсем был не в курсе!
И, чтоб – Карфаген! И – Везувий! В тот миг,
чтоб люди бежали развеявшись – в пепел!
Как плачет младенец! Оплавлен старик!
Безногая женщина – выжженной степью.
Вой. Грохот. Безумие! Бедная мать
осела в костёр – в ней ребёнок сгорает.
Так вырви ты руку!
Оплечье!
Гора – я
та самая! Камни, где будут стекать
с вершины, из кратера в тёмную падь!
Врагами квитаться. Истошно сгорать.
И время закончилось нынче твоё.
Я, мёртвая, всё же твоей жду руки!
Во мне всепрощение сладко живёт,
во мне – подставление левой щеки!
И непротивление. Ты помоги
не мне. А себе. Прогорит жухлый холст.
В продажности ты затерялся с женой.
О, как отомолить мне твой грех? Как мне ось
всего мироздания сделать стальной?

Отныне я – лобное место. Я – вся!
Твоих по-надбровий. И глаз. И строки.
...Обуглено, горестно бьётся кулья
руки.

2

МОНОЛОГ ВЕНЕРЫ

Обугленным холстом развратный мир, прости!
О, выгоревший весь! Ты – треугольный уголь!
Ты – пеплом! До оси, до рёбер, до кости.
Ты с севера.
С востока. Юга.
Ты обречён. Всегда. И я борюсь с тобой.
Хотя окружена. Хотя не меркнут звуки.
О, как они болят мои Венерыи руки,
отъятые! Но рвусь в неравный правый бой!
Эпоху разгребать. Всей чистотой ищу.
И пальцы – коих нет! – перебирают струны!
Мой неподвластен мир разору, дележу!
На сердце у меня он выцарапал руны
в кипящем серебре! А в свитках у меня
предсердья – лишь любовь, целованная небом.
Иду вдоль школы я: двор, дети, толкотня,
им всем сдавать ЕГЭ, им – зрелищ, света, хлеба.
Мне каждое дитя – прощение! Прости
уставший, прошлый мир. И мир, прости, грядущий!

Вот мусор во дворе, от папирос бычки,
бачки, от кока-кол бутылки. И значки
на горизонте звёзд. И под ногами лужи.
И всё равно обнять. Хоть телом, думой всей.
Я знаю, лучший мир
он есть! Он рядом. Дышит.
К нему любовь сильнее моя всех нелюбивших,
я ровно столько же иду, как Моисей...

Эта песня тебе, моя дочь! О тебе. И огромной
материнской любви, что размером с безудержный космос.
Наставленье бы дать! Оберег бы сплести. Так бездомно
без твоей мне поддержки. Скажи, отрастила ли косы
ты, как я, что до пояса? Как я хочу, чтоб бесслётно
прожила свою жизнь ты. Мужчины – они так несносны.
Я-то знаю, как счастье становится зверем с когтями.
И предательство знаю, и отблеск его смертоносный.
Я сама так бродила дорогой, тропую, путями.
Нет, такого рецепта, чтоб не ошибаться. Соломки
подстелить, но, увы, от соломки-то легче не станет,
от перинки, матраца. А панцирь в душе слишком ломкий.
У меня бьётся пульс по тебе, как лягушка в сметане.
Это лучшее время, когда ты была здесь, под сердцем,
это лучшее время, когда ощущаются марсы.
Марсианский ребёнок мой! Ты галактических терций.

Не сдавайся!

Никогда. Ни за что. И по-царски взирай на мытарства.
Я сегодня твои сарафанчики, юбки и книжки
разбирала в шкафу. О, какой он большой и скрипучий.
Мои пальцы касались, как будто кожи подмышек,
молоко в них и пряжа льняная! И творог сыпучий.
И веление щучье. И сказка. Емеля-дурило.
Сколько я пролила по тебе этих слёз крокодильих.
А точнее по себе. Оттого, что ты не понимала,
как опасны плохие компании, юноши-лалы.
Говорят об одном, ну а сами-то, сами-то... «Нет же!» –
я кричала тебе. Я просила. Но, видимо, мало
у меня было слов. Только сердце одно дребезжало,
рассыпаясь в одну невозможную, терпкую нежность.
Помни! Я тебя жду каждый день. Каждый век. И столетье.
Динозавром планеты. Кометой Галлея. Когда вдруг
станет трудно дышать, заколеблются стороны света,
буду я этой кромкой,
к тебе простираясь из радуг.

Виноградные косточки из Окуджавинской песни.
Виноград...град-вина, не разрушенный мой Карфаген.
Вот собрать бы подруг и назвать «Мастерскою небесной»,
и пусть каждый их шаг будет вечностью благословен.
Быть достойной подруг. Быть достойной. Иначе, зачем же

вся моя немудрёная, прикреплённая к памяти жизнь?

Прикреплённая генами, телом, космической брешью, виноградною косточкой, переходящею в кисть.

Быть достойной подруг... говорят, что друзей не заводят, как котят, как ежат и, как птиц-попугаев, собак.

Мои тёплые комышки! Ларочка с Автозавода, сколько я доверяла тебе. Быть достойной хочу. Натощак, если слёзы глотала свои. А затем я звонила, звонила, чтобы наговориться, Наталье (сейчас – Натали)!

Отделяю по капле. Как мёртвую топь от водицы и живую (живящую!) в отсвет тугой полыни.

Есть подруги далёкие. Есть виртуальные. Встретить и собрать бы вот здесь, «Мастерская небесная» где мне Елену Ананьеву! О, из каких же столетий,

из каких заантичных и будущих? Как мне сыграть на до-

жде

и на солнце мелодии? Больше, чем музыка музык!

Владислава – планета. Комета – моя. На холсте на каком рисовать мне-творить? Если космос ей – узок!

И других я ценю. Но любовь на такой высоте, что самой даже страшно! Поскольку мне не дотянуться!

Быть достойной и только. Отвергнувших тоже люблю.

И обидевшихся! В баррикадах тугих революций.

Я же – в том Карфагене! Он – личный! Не рушьте в бою, о, нет, не за себя! Как простить... помыкаюсь я прошлым – чистотой идеалов (наивны они. Ну, и что?).

Нас, приросших всей кожей. О, как отобрать эту кожу?
Ах, Людмила Васильевна, чем же мне выхаркнуть? Ртом?
Да, я в тысячу ртов вопию. И давлюсь виноградом
Карфагенским! В Тунисе его очень много растёт.
Быть достойной подруг. Всех наставников марсовых. Ла-
дом.

Снегопадом. Отгадкой. И кладом. Когда буду падать,
разбиваясь, срастаясь, свержаясь, смерзаясь, как лёд,
я – в живящую воду! И в ваш занебеснейший свод.
Что скажу я наставникам? Мне, каждый встречный – на-
ставник.

Каждый, кто покидает меня, он учитель вдвойне.

Каждый, кто предает, распинает, он тоже уравнен,
даже тот, кто убьёт.

Он мне тоже державен, уставен.

Карфаген, пусть разрушен, в груди прорастёт из высот...

СЛОВО О ГОНЧАРЕ

Что ты цедишь слова, как сквозь зубы, рот сузив?

Где гончар, чтобы миг этот переваять?

Где гончар, коли держит он войлок, убрусы
там, где белое с черным, где ткань бытия!

Вот он держит на талии пальцы тугие,
выплетая весь мир (я прошу, помолчи!),

перед небом исплачутся души нагие,

братья-сёстры начально все мы, не враги, и

я зажгу для тебя три церковных свечи.

На колени!

Ползком.

Рыбьей спинкой, стерляжьей

прислонюсь к небесам:

– О, для неба нет злых!

Есть больные, грешащие...

Все в землю ляжем.

Одинаковы все! Смоляные котлы

для любого сготовлены! Нет там халвы
и сгущёнки, и масла с духмяной икрою.

Не являюсь для неба – ни стервой, ни злою.

Гончару – все мы глина из вязкой земли!

И на плахе планет замыкается кругом,
маховик на оси крутит он с перестуком,
так смягчается сердце,

что камнем секли.

Брось ты камень, однако! И так слишком туго,
слишком армагеддоно, погибельно мне!

Не молись против ты. А молись ты в объятья,
в восклицанья, в любовь! А иного нам хватит
и вдвойне, и втройне.

Конь по кругу бежит. И гончар сводит пальцы
нам на шее уже, возле горла. И кальций
нам из глины, и камня протёк в позвонки!

Хочешь, сдамся тебе? Хоть до капли отдамся?

Нареки

ты меня «человеком хорошим», «человеком совсем никаким»,

«тем, кто молится:

– О, ты не даждь нам в жестокой,
несмолкаемой ране погибнуть. Под током
жёстких фраз, наговоров, продажной сумы,
быть разъётыми лжою, сухими дождьми...»

А гончар лепит, лепит из глин да кошмы.

И всё также по кругу летит в тесьмах конь.

И меня он – в огонь.

И тебя он вдогон.

Так сравниваемся мы!

...И всё равно я – заслонить, укутать,
и всё равно я – оберечь, спасти.

И всё равно – на амбразуру! Мука,
коль в стороне останусь, не в пути.

Я всё равно – ребро твоё, не больше.

Я, как росянка, что глазами кошек
глядит, мурча. Бессилен тут вокзал,
астрал, прогар, вокал, Сибирь-Урал,
Поволжская равнина не при деле!

Ты был со мной. Дожди пережидал,
снега и стужи. Подо мною пели

звонящие пружины на постели.
И скомканная простынь. Всё равно
прости за родинки, чтоплыли под устами,
как звёзды хороводом. Всё ж местами
я, как росянка. Из неё вино,
и из неё же яд плетут, лекарство.
Прости за то, что всё же не угадала
твоя-моя любовь цветно, умно.
Беспамятно. Убийственно. Напрасно.
Никем из нас с тобой не щажено!
А после этих чувств не выживают
обычно люди! Женщина и муж.
Росянка лишь одна глядит, слепая!
В Саратов, в глушь
её, меня, тебя. Не к маме – к тётке!
После любви такой мужчина – к водке,
а женщина на кухню к сковородке.
И ни каких ни крыл, ни звёзд, ни лодки.
А просто слёзы
и холодный душ!

Гипсовый Алексей Максимович
на Автозаводе у лица номер тридцать шесть,
таких называют у нас старожилками
и певчий наш парк, и деревья окрест.

И руки объявшие ширь необъятно
и взгляд! Кто такой бы во снах сочинил?
Вам дать бы трубу музыкальную, альтом
звучала бы скрипка, вдоль школьных перил
летели бы листья. И слушали дети
безмерную музыку! Анна, молчи.

Не надо об этом.

Трубит сквозь столетья
писатель в ночи.

Вот так воскричать, чтобы тело впивалось,
чтоб тело само вострубило сквозь гипс.

О, чём вы, писатели? Молодость-старость...

О чём вы, писатели? Малая-малость...

Про ярость пишите! Два неба чтоб сгрызть!

Два солнца! Спасайте вы русский язык!

Умрите на русском. На нашем советском.

Казните себя этой казнью стрелецкой.

И вырвите также, как Данко свой крик!

Вот гипсовый Горький шагнул с пьедестала,

в охапку – детишек. Труба из металла

воспела! Рука с арматуры свисала

и дыры зияли разверсто в груди.

О, Анна, молчи! Заверни хлеб и сало

и вместе иди!

Со всеми мы вместе. С несгибшим народом.

С непроданной родиной. Автозаводом.

Трубите, трубите, писатель, родной,
любимый хороший! А гипс в крохи, крошки
сдирается вместе с белёсою кожей.

Труба воспаляется вместе с губой.
И это ваш бой. Ваш немыслимый бой,
глубинный, святой. Что скажу я вам, дети?
Вы слушайте музыку, ибо воздеты
сакральные звуки, где тридцать шестой
лицей на проспекте, что Кирова, справа
от мною любимой большой проходной.

Я видела, словно в немом кино: она оседала в снег,
а в чреве её тридцать лун подряд младенчик был, человек!
Довыносить бы!

И мальчика напитать берёзовым соком своим.
О, сколько во мне витаминов с куста и сладостей. Поедим!
Вот яблоко сочное: белый налив. Икра и севрюжья уха.
О, чрево моё! Ты возьми и прими, пока он живой! Пока
сердечко его – О, я слышу – люблю – безумнейшее спаси!
Да что же случилось такое у нас на кромке границы Руси?
Народ твой крещённый, Владимир наш князь,
народ твой возвращённый на сочных лугах,
и вдруг помирает от выстрелов – хрясть!
От взрывов, от мин... Мрём за нефть и за газ,
помешанный на деньгах

сей мир! Нити космоса рвутся и рвут
тела наши, о, как глядеть?

Младенчик, пусть тело моё, что приют,
пусть чрево, как дом, там есть пища и снедь.

Как вырвать у смерти тебя, как украсть
воровкой последней, голимой? Ворья
такого не видывал мир! Сунуть пясть,
вцепиться ногтями в мертвеющий наст,
в неё! В оседающую мать, моля,
спаси нерожденного. Небо, земля!

Ору я! Да так, что осипла. Ору!

Сама оседаю на снег, что в крови.

Мертвеющей матери кожу-кору
содрать и достать бы младенца – живи...

Так было когда-то во сне, наяву.

Я в женской больнице лечилась тогда.

Одной роженице – из тех, вековых
родить помогла я ребёнка!

В хлеву

рожают лишь Бога всегда.

О, тёплое семя мужское внутри,

о тёплая сладость, о, млеко, о, страсть!

Я вздумала нынче у смерти украсть,
у тлена!

А вы говорите, что дрянь я и мразь...

Гори эта смерть! Вся гори!

У этой строки, что срывается с уст
и в сердце течёт в сто его корневищ
конца нет и края. Спасти, вырвать, пусть,
хоть в мыслях моих оживёшь, мой малыш!

Игорю Чурдалёву

Иногда так бывает со мной по ночам.
вдруг захочется водки, мужского плеча,
но беру вожделенно, читаю я книгу.
Ибо так мы устали от всех новостей,
от интриг, от вранья, от мощей и страстей
и от лжи во кремлях поелику.

Я Покровскою исповедью извелась,
надо мною лишь слово усердствует всласть,
были б гвозди у слов, разве я пожалела б ладони?
В этих пряных, колючих скитаться снегах,
апулеевым осликом – слёзы в глазах –
по пустыням, по сахарным, сонным.

Рваной рифмой по краю пробиты виски.
Игорь, Игорь, туда в эти бури, пески,
где алхимики, стойки, самоубийцы, поэты,
извлекать золотой, беспробудный свинец.
Но тот мальчик в кафе, ты же помнишь, малец?

Пожалей хоть его. Я квинтеты
перерезанным слухом внимаю.

А он

этот мальчик-таджик в белых кедах, что сон,
и в китайских штанах, и в футболке
по-овечьи глядит на тебя и меня,
а затем на меня и тебя, не кляня,
не боясь, не храня. Но его пятерня
как неделю немыта. Шаболки,
две продажные девки, речной стадион:
это перечень наших, прожитых времён
и «братки» в тёмном парке на «Мерсах» и «Джипах».
Да погибшие там, где Афганский излом,
да ларьки деревянные, что за углом,
да вино в алых кружках под липой.

Ресторан. Мне не надо, не надо туда!

Но была я другой в эти дни и года:

мягче, легче, пронзительней, звонче, глупее.

Левенталь да Самойлов, Вадим Степанцов:

в моих книгах закладки и почерк пунцов.

А сейчас даже плакать не смею. Не смею...

По-другому ли было? По-прежнему ли?

Эти кипы-слова, эти фразы-кули.

Сахар слаще и соль солонее, и хлебушко с перцем.

Но ты время тогдашнее нам рассказал.
И поверила я в то, что круг – есть овал.
А иначе, зачем так терзаться мне сердцем?

Птицы ИГОРЯ

Не просто рождённый для литературы,
а для большущей, широкомасштабной.
(Книги его бы купить в «Дирижабле»!)
Опередивший всех сверстников бурей,
раньше рождённый на век – сосчитать бы! –
Игорь по-Пушкински жил, не вонзаясь,
ни как другие на гору повыше,
что ему гранты, медаль, благодарность,
что ему игры про премии мыши?
Но не об этом я... ибо обидеть
наших боюсь, что стремятся, стремятся.
Ты был рождён для вселенского, Игорь,
сколько нам лет световых, до Китайской
словно стены – до тебя! Храма Неба,
как до долины Цзючхайгоу или,
как до священного Аддис-Абеба,
что в центре Африки, столько же милей.
Вот говорю тебе, как побратиму:
– Каждую ночь по горящему граду,
словно теряю я в сердце – гори он! –
этот вокзал, эта площадь и рынок.

Ты посмотрел на меня как-то сжато.

Холодновато.

Ответил детально:

– К лучшему всё! Разноцветно, скандально
и сексуально.

Видимо так.

В это время взыграли

скрипки и флейты в твоём белом зале.

Женщины пели. Мужчины сновали
между рядов. Им хотелось, как ты, быть.

Но слишком солоно. Или же сладко
или лесисто у них, или гладко,
иль на безрыбье – они всё же рыбы.

Но не хочу про своих я, про наших:

Осипов, Шкуркин, Шамшурин, Кумакшев.

Может быть, надо поменьше, попроще?

Навзничь, ладони к лицу, глазки к полу?

И под топор целым лесом и рощей,
и под орудия, и под помолы?

Далее: ты рассказал то, что кормишь
каждое утро птиц зимних в кормушках.

Вот я представила сразу наотмашь
их колыбели,

где хлеба горбушки,

зернышки риса, пшена и гречихи.

Вот я представила: тихо так. Тихо...

Кто же, коль будет зима, их покормит?
Бабушки? Женщины? Пьяница-дворник?
Кто покачает вот так колыбели
там, во дворе твоём? Кто карамели,
патоку, ладан и сладкие речи
мне воспоёт, как ты по-человечьи?
Кто же мне скажет:
– Смирись и не верь им,
что за «ля-рус, про тебя написали»,
что за «она про берёзы, про перья
да про князей, про безмерные дали»?
Просто на шаг отойди. Крепость, камень.
Ты не такая. Совсем не такая.

Всё-таки кто колыбели-кормушки
птичьи наполнит? Кому это нужно?
Адрес простой: там, где площадь, налево
рядом с рябиной в Цветаевских гроздьях.
На роль врага, друга ли, кавалера,
на роль подвижника, что за манера,
был Чурдалёв мне –
учителем грозным!
Мог и одёрнуть. Прервать с полуслова.
Было такое – совсем не общались!
Все обнищали тогда. Обветшалость
«злых нулевых». Но нет, у Чурдалёва

было иначе – кафе, лоск, мобильник
самый крутой.

Мне казалось, он сильный,
он всеобильный
и он всеохватный!

Алеф и аз, элемент словно пятый.

О, хорошо бы, коль я ошибалась,
о, хорошо бы так зло и упорно.

...Всё же, ах, всё же, но кто их покормит
этой зимой голубей? Кто даст зёрна?

Мальчик мой, милый мальчик, от нежности я удушающей
захожусь в тихом выдохе, мой лягушонок! Икра
у царевны-лягушки в кораллах! В её обиталище,
в её тайные капища, в жёлтых хребтинах тавра
и в Тавриды её, однозначно крещусь я, вникая!

Мальчик мой, я пронизана жгучей, безмерной, моей
материнской любовью! Для этого – выход из рая
и впадение в грех! И падение! Жальче, безмерней, силь-
ней.

Берегись челюстей ты акульих, и ловчих собак и рыбацких
шелковистых сетей. Ты – из маленьких капельных сфер
да из этой икринки, из царской, что по-азиатски,
из уральских болот да из марсовых спаянных вер.
Кто же тот акушер, что принял у царевны-лягушки

золотые икринки на бабьем родильном столе?

Повивальные бабки, сестрицы, девицы, подружки?

А икра у лягушки нежнейшая, словно суфле.

Я целую тебе ножки-лапки и ручки в прожилках, и тельце!

Мне отдали тебя – зимовать! И сказали мне так:

«Тётя Света, ты выходишь! Ты воспитаешь! И сердце за него ты положишь! Луну назовёшь, герб и флаг!»

О, лягушья звезда, моя белая – Сириус жабий!

И созвездие псов, что по Кельвину массы на треть!

Утопаю в любви! Льды твои разбиваю по-бабьи.

Хлопочу, мальчик мой, нам гулять, дай шапчонку надеть.

Мне тебя обнимать во сиротство твоё, царской крови

мне в больницу анализы завтра сдавать поутру

с девяти до двенадцати. Смеси к обеду готовить,

и поэтому знаю, что я перелюсь, не умру.

Во зверюшек, во птиц, в земноводных да рыб пресноводных,

в травянистых лягушек, питающихся комарем,

пауками, сверчками, о, мальчик, любимый мой, сводный,

кабы быть детородной! Не старой, родить бы в тугой во-

доём

мне братишек тебе! И лягушачьи жёлтые звёзды

всем раздать, как икринки, прозрачные, что янтари!

Но сказать – не скажу, как терзали меня, грызли остов,

как знамёна топтали мои, промывали мне кости,

лягушинные лапки едали тугие внутри.

Никогда я – во Францию! Я на сто франций мудрее.
Никогда я – в Париж! Коль увидеть, то сразу каюк.
Мальчик мой! Утопаю в тебе! Превзойди всех в учёбе, в хоккее,
в небесах, в лунах-солнцах, в прыжках, будь стоног и сто-
рук!

Твоё сердце тук-тук.

Прижимаю, качаю. Ночь. Луг.

Захожусь, словно нет воздуха, его не осталось,
от любви, от которой земля горячей.

Всё во мне: это солнце, что жжёт, сладость, жалость,
о, подруга-берёза, о свет мой очей!

Заступаюсь! Моя белоствольная, тонкие ветки!

Я уже не кричу, говорю на твоём языке.

Отвечаешь: я слышу незрячею музыкой редкой,
понимаю тебя! Словно плавлюсь в своём леднике.

И слепым я щенком утыкаюсь в твои руки-ветки
и скулящим лисёнком, лосёнком, убита чья мать.

В моих жилах – твой сок! Твой берёзовый в капельной
клетке,

можно вырубить рану – и пить по весне. Насыщать
всё живое вокруг! Ибо мёртвого, сохлого вусмерть,
этих палых деревьев, убитых речушек, озёр.

Пей мой сок из меня! Я тяну к тебе сочные русла,

и ко всем я тянусь, пробираюсь. И мне не позор
говорить про берёзы! Про эти синичьи подгнёзда.
Иногда я ловлю в себе то, что мой говор похож
на вот это шептанье, шуршание вспухших желёзок,
на щемящее! Я перехвачена нежностью. Что ж
удушающе так? Болью в боли твои мне порезы,
о, сестрица... Я в школе дружила с берёзами больше, пой-
ми,

чем с девочками или мальцом с ирокезом,
даже с птицами так не дружила, зверями, с людьми.
Полнословно и радостно-небно, и лиственнно-жарко.
За тебя бы я плавилась в солнце и мёрзла во льдах –
поляница, воительница и заступница я, и бунтарка!
Я листовой бы стелилась в лесах – кожу рви мою! – в пар-
ках,

на дрова мои мускулы, плечи, сгорю до огарка
в этих русских лугах!
А сейчас я настолько захлётнута правдою, что прибывает
и никак не уймётся: хоть вены все вскрыты и хлещет твой
сок

вдоль земли всей – на пальцы, на кожу, на Альпы, на оси
и сваи
сквозь висок!

Понимаешь, так было со мной, что казалось: весь мир от-
вернулся,
было столько предательств, подкупленных столько по-

друг,

я тебе расскажу про серебряники, про иудство.
Но простила я всех, как листву с плеч долой, с кожей рук.
А сейчас всё не больно и что поперёк – всё продольно.
Ибо я у тебя научилась, и ты мне одна лишь пример.
Отступить уже некуда – сзади Москва. Справа море.
Пробиваю я корнем – о, русский мой корень! – семь сфер!
И не надо мне бусы мои поправлять, мех и парку.
Одинокое дерево! О, для чего, для чего
принимаеть ты молнии, словно петлю ли, удавку,
принимаеть ты космос и сущность его, вещество?
И своих не сдаёшь, ни цветы, что вокруг, ни растенья,
превращаешь в уголь, в тепло домовое? Держись
в жизнь из жизни! И я за тебя, о, поверь мне,
птицей ввысь!

Неожиданно и бесповоротно
в вас, переписывающих мою историю,
мои детские клятвы, сандалии, боты
и пальто моё, книги, портфолио, фолио,
в вас, наёмников на такую работу,
бурлаков, что на Волге, чьи плечи изранены,
в вас – рыдаю! Кричу я – распятая в сотый,
может, в тысячный раз! Я – молюсь с придыханием,
объясняя, что нету победы над манною

той, что Бог посылает с разверстых небес!
В переписчиков, в вас шлю я кардиограмму
рваным сердцем, читайте! Кто сгиб, кто воскрес.
В соль-диез.

Но не трогайте папу и маму.

День рождения. В мякоть зачатья не лезь!

В колыбельку мою! В Русь мою, в мою родину!

В топь берёз! В мою клюквой растущей болотину!

Ибо ты там утонешь. Там всё – аномалия!

Не касайся меня сопричастно-опальную
и оболганную! Волжский, Окский мой съезд.

Ибо это изложет тебя. Просто съест

так, как волк из моей колыбельной припевки,

как Садко тот, что в омут, как Кочина «Девки»,

где моя Фиваида, где лимфы желез

и набухших сосков, когда кормишь младенца.

Выпадает заколка. Не держит гребёнка.

Переписчик, подёнщик – скрипит стеклорез.

И нет Слов у тебя между этих словес,

Переписана Речь, но нет речи. Лишь знаки.

Ты мне герб подменил, очернил мои флаги.

Перебитые пальцы мои дел куда ты?

Мои родинки возле запястия где?

Позвоночники-флейты, где? Тот, кто в кровати,

в моей женской на равной со мной широте,

темноте, красоте и сиротстве таком же?

Мою родину вынуть не пробуй! Везде
она! В генах. В крови. В родословной. В оде́же.
И меня поднеси ты к лицу, как слезу
до церквушки, до плах всю, как есть до посконной,
до крестильной рубахи.
Всю!

А теперь отрекись от того, что наделал,
от того, что убил, что разбил, что разъял.
Я склонюсь над твоею могилой: «Ах, бедный!»
...Ах, ответь, мне ответь хоть ослепший хорал!

Меня поймёт, кто пережил раскол,
развал, раскрой страны моей бескрайней,
ларьки, базары, запах пепси-кол,
табачный бунт в Свердловске, визг трамвайный.

Что девяностые для вас? Разрыв, кульбит,
невыплата зарплат, потёртый вид,
Чернобыль, взрыв.

А у меня – мастит,
потрескавшийся, весь в крови сосок,
пелёнки, каша манная, горшок
и яблоко, замёрзшее на блюде!

Меня поймёт, кто пережил весь срок

на Атлантиде, на «Титанике», о, люди!
Что с нами ныне, присно, завтра будет?
Эбола, вирус пистолет в висок?
Русь!
Обрастай опять землёй и силой!
Зачем тебе напёрстки, шапито,
весь этот цирк, что у стены могильной,
окраина, что всмятку, в решето?
Мы вновь скатились в гроб, в делёж, в раскол,
в преступность группировок.
Не убило,
а вырвало нам небо в сотни жёрл!
Нам снова предлагают алкоголь,
спиваться, развращаться, красть, колоться,
смотреть, как всех Евразий наше солнце
вдруг обнулилось. Единица – ноль!
Кричи, ори, вопи ли, плачь, глаголь,
никто не слышит. Я скажу вам честно,
что в девяностые хотя бы повсеместно
сквозила радость. Нынче только – боль!
Боль за науку, за искусство, за культуру.
Мне кажется, что кто-то пулю-дуру
мне в голову подкожно приколол.

И я хожу, хожу вот с этой пулей,
молю, молю, чтоб вспять мы повернули,

но у «Титаника» один есть курс – на дно.
У Атлантид туда же, Китеж ляжет
и не всплывёт. Не бысть! Не суждено!
Нам всем погибельно! Нам всем темным-темно!
Стоит в просвете боль
за все эпохи.

Раскол не от телес – от душ. Пей кофий,
ешь ананас! Твой, Русь, осажен крест
обавниками, цевью, ведунами!
Стряхни их. Не напрасно же сынами
мы разродились во благую весть!
И я вот здесь.
О, Господи, я здесь...

Кричу, воплю, что, люди будет с нами?

Опять весна, и воздух абрикосный,
мне дым костров, как запах париросный,
весь день Саврасова мне видятся «Грачи».
И умирать не хочется. Ни капли.
От вирусов, от пуль, от стрел, от сабли.
Грачи нас прикрывают: крылья, спины,
Прикрыл нас Игорь Грач строкой глубинной...
Что чувствовал он в этот день, где снайпер
сидел, прицеливаясь? Вешайтесь, рыдайте,
но лишь не надо обобщённых мыслей, слов

родне и маме, тётё, сыну, всем нам!

А чувство родины – хребетно, внутривенно.

А чувство родины – основа из основ.

А умирать не хочется. Ну, право!

Вот одуванчики – птенячий цветы

комочками желтеют. И холсты

Саврасова повсюду: вдоль канавы,

в дубраве, и в орешнике, в саду

пошарпанные ветки, как шрапнелью.

Грачи и вправду, вправду прилетели!

Они не знали, страшно на виду

спешить в одной колонне на прицеле.

Ты нас прикрыл.

А чем тебя прикрыть нам?

Каким ребром, предсердием, молитвой?

Каким увидеть зреньем? Слепотой?

Под дымчатой да под густой листвою

не отсидеться нам в домах высоких.

Не оградиться ни щитом, ни блоком.

Вот, говорят, географ глобус пропил,

но ты не верь! Верь только слову – Грач!

Что прилетит пернатый, окрылённый

строкою, песней да слезой солёной,

и будет бесталанным всем жескач.

А кто убил, стрелял, тот гадкий сволочь!

Настанет время – утро, полдень, полночь,

но суд свершится, человеческий суд.
Наступит время твёрдое, как камень,
и каждый Ирод, каждый Брут и Каин,
да что там Каин, небеса падут!
Убитые поднимутся. Я знаю.
Поруганные встанут, вой, кричи:
– Огонь! Ах, суки! Родина... родная...
Летят грачи. Летят твои грачи!

ОДЕССА. 2 МАЯ

—

Корневище русское проходит сквозь меня,
сквозь мою землю, её белокрылые оси!
Сквозь сердце, сквозь волосы изо льна,
прорастает в мой позвоночник, в мои крепкие кости!
Прорастает, пропитывается, мою влагу пьёт.
Пробивает пространство. Прорезает высь и выше!
Я в его тени. Мы все, мой народ,
сквозь нас растёт русское корневище.
И когда мы все выходим на Соборную площадь,
заслышав музыкальный его, высокий звон,
русское корневище прорастает сквозь толщи
всех прошедших и будущих всех времён.
И какими бы ядами не поливали нас,
дождями кислотными, фосфорными, губительно атмо-
сферными,

но несбитый ритм корневища – наш запас,
не простреленный пакостью, гнусностью, сквернами!
Спросите, каково оно на вкус, каково оно на цвет, спросите?

И, если не секрет, каково оно на запах?

О, как сердце щемит мне космической россыпью,
я в его утопаю масштабах!

Им наполненная до краёв.

Это то, что спасает. Это то, что пронзительно губит!

Со времён мироздания, из плача всех вдов,
из купелей сыновних сугубо.

Из материй берёзовых, шёлка дубов.

Это кров. И библейский Иов. И покров.

Это дедов сундук. Это рёв у гробов.

В каждом грамме его сто пудов, сто трудов.

Люди!

Корневище русское – это Авель, не убитый Каином!

Корневище русское целует каждое утро Бог.

Трогает. Обволакивает. Громит идолище татарино.

Впивается в гортань. Просачивается в слог.

Я не могу отступить, ибо сколько наших сгибло в концлагерях.

Сколько наших сгибло в армянских сёлах от ятаганов.

Сколько наших – однокоренных погибает сейчас на полях,
сколько сожжено в Одессе кучкой купленных хулиганов.

Вижу: у сына моего лицо сосредоточено.

Вижу: мои платье, пальто, туфли в пакетике.

Сын, немеющий взглядом: трава, ров, обочина.

Дом профсоюзов горит, дым невзрачной синтетики.

Кто же сейчас Герострат? Кто же Нерон? Мир горит...

Мне так дышать тяжело, как не дышала я вовсе.

Ворон кричит... Но как я, там оказалась внутри?

Значит, пришла я с людьми, люди с меня после спросят!

Сказано же: «Всем Домой!» – Дом профсоюзов в огне...

Сыне мой, мальчик, прости! Вижу: руками ты впился
в воздух, чернее земли,

в воздух, чернее камней.

Жаль, не успела сходить в церковь и в Лувр, Моно Лиза
вечной улыбкой свербит там, обнажая любовь.

В Рим не успела я, и в Токио, и на Манхеттен.

Всё-таки, кто Герострат? Кто натаскал столько дров?

Гарь, духота, пепел, звон. Бьёт прямо в грудь меня ветер!

Ветер – Одесский, родной. Значит, успела сюда.

Вижу: котят, голубей много их, о, как их много!

Я же сгорела тогда, враг-Герострат, таки да,

голос поджёт без труда, книги горели, дорога...

Не пожалел он детей, малых моих – сына, дочь.

Я умоляла, не жги!

Только Нероны на скрипке

жадно играли три дня, жадно, пока тлела ночь,

жадно, пока дождь не шёл липкий.

Вижу: оленьё моё тело большое, как мир.

Вижу: я волчьи глаза, чую, клыки рвут до крови.

Не уходи. Не бросай. Не исчезай. Глядя в ширь!

Но ничего нет нужней, дочерней любви и сыновьей!

—

Ослепляет глаза мои нежность до такой слепоты,
что я внутренним оком весь мир созерцаю, весь космос!

Мой сыночек, Павлуша, пишу тебе, до хрипоты
проговариваю слово каждое. Помню, как рос ты!

Твои ручки и ножки...любимее нет и родней.

Я пишу отовсюду. Из этого времени или

из блокадного города – города сотни смертей,

из сожжённого в топке, сгоревшего я Чернобыля.

Из Мологи утопленной, о, как Калязин мне жаль,

я пишу из-под башни вмурованным, сдавленным сло-

ГОМ...

Вот я трогаю камни шершавые: сбитая сталь
прежних букв...Но не верь никаким эпилогам!

Обнимаю тебя. Сколько нежности светлой, льняной
из неё можно ткать и пути, и дороги все в шёлке!

А все матери маются этой прекрасной виной,
что не всё отдала, что смогла, я твержу втихомолку,
что могла бы дать больше я знаний, умений, идей!

А сейчас, а вчера я из прошлого, из Ленинграда

вот пишу, визг снарядов и вой площадей,

мама, Веня, соседка...хочу про живых, про когда-то.

И про то, что мы встретимся! Запах цветов, имбиря и берёзовых почек. Что русский всегда про берёзы, выживают они вопреки, а не благодаря даже с этою раной в боку там, где слёзы.

Нынче были в музее... хотя виртуально давно.

Я пишу из всех памятников, гарью пахнут кричащие буквы.

Покроши хлеб и просо, как было когда-то, пшено голубям, воробьям, белым чайкам на Волге у бухты.

Я по клюкву ходила, и я приносила грибы с золотистыми шляпками, жарила с луком, картохой.

И не верь, что мир – прах. И не верь, что могу я не быть, мой кровинка, мой кроха.

Сном распахана, разъята. Сколько можно?

Сном изъедена, измолота подкожно, сном сожжённая – добраться как до дома?

Не рожаю я, а становлюсь Мадонной, сколько есть, свои оплавав смерти

в той плавильне из лугов, из цвето-тверди, выправляясь из своих тугих девичеств,

не мою ли пишет грудь во снах Да Винчи?

Мать кормящая. Родящая я – мать.

Заслоняющая от беды, от смерти.

Если надо, то меня терзайте,

а его не смейте!

Лиф на лямках, на резиночках под грудью,
вся молочная, летящая, от века.

Если помните: в желёзках набухает
ежечасно, сладко-сладко, беспробудно,
прибывает человеческое млеко.

Эти сны... я – космос. Невесома
от щемящей нежности. Открыта
грудь. И мой ребёнок полусонный
чмокает. Он кушает. О, жить нам
много вечностей так, как Мадонна Литта.
Против смерти заварю тугой бессмертник,
безтревожник,
бедбедовье – чудо-травы.

Состою я вся из сердца, из предсердья.
Вся – любовь я! А в любви мы, люди, правы.

Выдолбить картину мир не сможет
из меня, когда в гвоздях ладони, ступни.
Там мой сын. На полотне. Я тоже.
Дай протиснуться, народ, по перепутью.
Дай обнять... поцеловать дай пальчик каждый!
А народ толпится, рвёт подкладку.
Билетёрша зрит по Эрмитажу,
и охранник, и смотритель по порядку.

И сочится молоко. И прибывает
у меня в груди, течёт по кофте.
Тычет в спину билетёрша: «Приготовьте
для прохода свой билет!» Я, как немая,
как дурная. Мне б проснуться, сколько можно?
Сном распахана, измолота подкожно,
подреберно, все свои оплавав смерти.
В моём чреве – в животе огромном дети.
Я – родильня! Угль горячий – я! Я – мать!
Эрмитаж.
Билет в кармане.
Нате.

Да, разве не в меня стреляли там, в Казани
один какой-то псих, обзаведясь ружьём?
Уж лучше бы в меня. Стрела ли, пуля, камень...
И вот рыдает мать, склонившись над дитём.
Вот кофта, вот пиджак, вот рюкзачок обычный.
Я ухо приложу к земле: земля дрожит.
Всё – больно.
Всё – кричит.
Всё колет раной личной.
Я не могу, когда детишек рвётся жизнь!
Вот если бы лежать заместо их там, в школе
да посреди двора. И красный бы цветок

рос прямо из меня. Как будто бы я – поле.
(И не было контрольной, задачки треугольной).
По мне, по мне иди, тяжёлая ступня!
Да разве не в меня стреляли там, в Казани?
В меня, в тебя, во всех, кто рядом, кто везде.
Да, лучше бы в меня, чтоб чудными глазами
глядеть, глядеть поверху в дожде и чистоте.
Во всю Казань – в упор и в Хижицы, в молитвы.
И в крики: «Изыди!», и в Оптину пустынь.
Не сердцем думать мне, а этим – сквозь пробитым,
растоптанным насквозь и с ритма болью сбитым,
левее, что стучит в ребро в жару и стынь!
Казань мне кожу рвёт и колет в подреберье,
и топит, как в любви в младенческой крови...
Что может быть страшней окраин у империй?
Что может тяжче быть войны, чем, где свои?
Вот так уходит в ад исчадь злее ночи.
Вот так уходят в рай светлее, чем сам свет.
И только слышу вой и стон:
– Прости, сыночек!
– И, доченька, прости!
И ангел плачет вслед...

...Я там в каждом доме горящем, в стволе абрикосовом,
пораненном пулей, но всё же цветущем отчаянно.

Когда же закончится эта война высокосная?
Там люди! Живые! Они своей плотью там впаяны.
Как бросить свой дом? Свою землю? О, нет, не получится!
Театры и улицы, скверы, дороги и станции.
Я руки свои стираю – гляди, стираются
они через небо! Сквозь камни и топи зыбучие.
А там – люди лучшие.
В шахтах шахтёры. Там дети шахтёрские.
Станицы. Ты видел сады их цветущие, майские?
Глядит Богородица в храме очами раскосыми,
глядит так, как смотрят все Матери.
Как в «Слове» единственном, что «О полку» и не выгорит:
«усяено» поле костями, улитое кровью.
Вот так прилетают грачи: Грач – фамилия Игоря,
убитого в центре Луганска. Доколе нам
засеивать поле собою? Как семенем, злаками,
собой, как пшеницей, собой,
как цветами,
как маками.
...Я, Игорь, не просто рыдала! Я выла. Я плакала
с отчаянья в Нижнем. Ужели тела наши лакомы
всем пулям,
всем минам,
разрываю, снарядам, атакам ли?
Геройская смерть... Отчего не признаться по правде нам,
и Крымской весной не пойти нам до батюшки-Киева?

И флаги чего ж не нести? Отчего не спевати нам?
Ужель осужденья боимся Америк? Чего, мол, «содияно»?
Куда же, мол, сунулись?
Ты поручила б, Россия нам,
я тоже бы кинулась в пекло! Поэту – поэтово.
По полю бы шла, где пшеница. Я столько налайкала
сердечками там, в интернете, забыла, однако, я,
как выглядит сердце моё, к небесам что воздетое!
Что болью задетое. Вбитое! Вместе спиваем мы...
Давайте же вспомним всех их – воевавших писателей:
Толстого, Дениса Давыдова и Полежаева,
Прилепин – не чай же он пил на Донбассе с приятелем!
...Я, как Магдалина, власами бы раны их гладила,
ещё подорожник прикладывала бы, сердечная!
Ещё бы на раны я дула.
Ещё бы я ладаном,
ещё бы я мёдом,
целила бы русскою речью...

Сквозь сок берёзовый, где белая кора,
сквозь нас, сквозь мироздание по краю
в нас прошлое, из полдней в вечера
просачиваясь, в бездне исчезает.
Вчерашние! Ты, вы, они и я!
Вчерашний хлеб, черствеющий в тарелке

и песня Галича: навыворот меня
перетряхнувшая, идущую по Стрелке.
Свои, свои! Мамай им всем судья!
Свои! Они-то знают, боль где ходит.
Свои! Они всех жальче уязвят,
смертельной всех, убийственной – сородич!
Земляк, земляк... с тобой одна река,
почти одна постель – земля пред нами.
Ты мог, меня увидев, окликать,
в авто ко мне садиться. И слегка
меня коснуться тёплыми руками.
Мне не нужны, казалось, щит, стена,
бойницы, Кремль, Пороховая башня...
Прав Галич, прав: свои – как это страшно!
Страшной Мамай, банды, пахана.
Казалось, всё! Черта! Отомщена,
угвождена, разбита, сметена,
как гипсовый Ильич до арматуры.
Охаяна, раздроблена, бледна,
вот видишь, на полу всю ночь без сна,
прижав колени к животу гипюра
и в чёрных, в сеточку чулках, одна,
накинув лишь халат на тело, силясь
прогнать все мысли, тяжелей что гири,
но прёт нахально, словно грудь, где вырез:
– Мамай хуже, во сто раз Батыя

свои, свои, что были мне родные...

И не кончается вчера, позавчера,
свои приходят так и убивают,
свои приходят так и распинают,
раскрыла душу – оскоблили до нутра!

Всё, всё не буду... где гидазепам?
Ты говоришь, я – наглая буфетчица,
дешёвка, неудачница, не лечится
твоей нарциссизм!

Но всё равно всем вам
я благодарна трижды, сорок три.
Мамая хуже, Галич прав, свои.
настолько хуже, что нет лучше их,
об этом стих!

КОЛЕСО МИРОЗДАНИЯ

Млечный праздник бремени: восхищения, вёсен, всхож-
дения,

мир рождается вновь из пылинки, из праха, песка,
вот песчинка,
зерно,
вот безумство горячего семени.

У земли вечный тест – две полоски. У материка
ей неважно, погода какая, напасти на голову, плечи.

И неважно про возраст, про вечность, про глады и мор.
Вся земля, словно питерский житель, отличница вся – чело-
ловече!

Вся огромная мать, очами глядит что в упор.

– Да какой там раздор, мои дети, зверьё моё, птицы?
Да какие там шашни? Мне время родить, воскрешать!
Моё сердце огромно, что даже в груди не вместиться
и такого же точно размера бессмертна душа.

– Люди, люди любимые, горлицы певчие, голуби,
люди, люди любимые, вас заслонить, уберечь.

Там на склоне Тартания и Черемисы Нагорные,
луговые да травные, да Арзамаская речь.

За Узолой Камелия да за кирпичными лавками,
за дощатой палаткою с водкой, вином и водой.

– Люди, люди любимые, это же я вас залайкала
Плачами Ярославушки, сборником «Домострой»,
да «Голубиною книгою» да «Житием Аввакумовым»,
Невским, Тарасом, Иванушкой – вот оно наше родство!
что пуповинно, лукумово. Нет, умереть, вы не умерли,
в чрево легли моё, лоно вы, в прежнее естество.

– Люди, люди любимые, вас я приму искалеченных,
измождённых, пораненных, гордых ли, нищих, любых.

Все равны, все лежачие, все для меня птахи певчие:
спины, ребрышки, головы, вены, косточки, лбы.

Ничего мне не надобно – ни авто, денег, прибыли,
ни домов ваших, платышек. Только тело и всё!

Снова буду беременна я из небыли, были ли
от пылинки,
от зернышка, раскрутив колесо.

Вся жизнь, как мучительное прикасанье:
чужою судьбой обжигаю себя я.
О, сколько мне раны, как в притче, власами
друзей отирать, воздух жадно глотая?
До самого мая.

Я думала, что всё наладится скоро.
Как я ошибалась, наивная дура.
Всё также прямою наводкой по школе,
всё также от взрыва горит арматура.
Открытое настезь распахнуто поле.
Глаза тех людей, что сейчас под обстрелом,
вы видели?
Это такой сгусток боли.
Смещается сердце куда-то сквозь тело.
Глаза – два огромные озера словно.
Глаза, словно два «О полку» вещей слова.
Глаза – жуть Ледовых побоищ, что возле
Вороньего камня, на Узмени слезы.
Глаза – Марианские впадины. Жёлоб,
как будто космического измерения.

По полю иди! Под обстрелом тяжёлым,
а после, старушкой, встань на колени.
А ноги, как ватные, как деревянные
негнущиеся! Мышцы, косточки, хрящик.

Мне Ольга Арент говорила, как братство
слова её были. Как к тетке добраться
моей, что на линии фронта. Да, фронта!
И фильм снял про Зайцевский Храм Полубота.

Красивы люди! Алеша и Ольга.
О, сколько они пережили! О, сколько!
А в Харькове – в городе доброго сердца
подруга живет у меня Владислава.
Стихи её –
космос сумел бы согреться,
стихи её –
в Арктике сделали б лаву.

Так вот: написала, что укрофашисты
стихам не открыли проход и границы!
Доколе, доколе, доколе, доколе
идти нам сквозь пули по этому полю?

Стреляй, гад! Я здесь в шелке из Магеллана.

Ты целился плохо.

Вот – рана.

Она никогда не затянется боле,

рву пуговики я на груди: целься что ли!

Здесь церковь сгорела. Детсад разбомбило
с игрушками – мячик, медведь, бегемотик.

Огромное в небе сияло ярило –

горячее солнце всеобщих прародин.

Теперь нам куда? В совпадение музык

на этом открытом всем пулям пространстве?

Уйти не смогу, я – тот смертник, тот лузер.

Уйти не смогу.

Так же, как и остаться.

Лён волос твоих гребнем зубчатым чесали,

разбавляли свинцом, ртутью магний и калий,

выпекали из магии соцреализма,

терпкий запах огня, серы в плавком металле –
ты невероятно сияла, отчизна!

Через тернии шла, пронесла свои драмы.

А теперь до тебя далеко – через космос,

не достигнуть алхимий твоих, горный камень

не добыть философский!

И к очам не приблизить твои мне Сатурны,

никогда на просвет не узреть эликсиры,
вологодских коклюшек стежки и ажур,
ты была небоскребной,
была неотмирной!
Ты была сверхдержавой.
Я руки держала.
Каждый пальчик натруженный я целовала.

Перековывали тебя небылью ржавой,
а под веки вливали кипящие лавы,
и мечи отбирали твои и забрала.
В подреберье теперь ноет больно осколок.
Ты на «после» и «до» мою душу вспорола.
Не уйти. Да и некуда. Если бы было,
где же каплю мне взять твоего эликсира?
Эти Гербертуэллсовы изобретения,
невозможных, щемящих всхождений, борения,
нам ничто и никто тех комет не заменит,
чтоб вышагивать из обветшалых столетий.
Эти колбочки, трубочки, жар атанора.
Мы тебя высеребривали. Самоцветье
в твой хронограф сбивали.
Мы на киновари,
словно гвозди оплавились жарко и скоро.

Как Адам из ребра сотворил свою Еву,

так отцы наши, деды тебя сотворили.
А теперь, я спросить боюсь, где мы, где все вы?
На каком из колечек сатурновых или
на обносках последнего рая в изгнании,
словно жертвы бараньи?

Боль и ночь на закате.
Косы длинные – нате.
Я, как тот обреченный, иду на закланье.
Глаз не видит один. Слух не внемлет. Заранее
подставляю я спину, чтоб выжгли мне звезды.
Отреклись от алхимии – вбитые гвозди
до сих пор из ладоней торчат. На берёсте
полыхают – аз, буки, глаголы и веды.
...Воздух жадно глотаю, хватаю ноздрями.
Были ею наполнены, нынче воздеты
на крестах мы ея, той страны, что не с нами!
До которой лет двести лететь – не достигнуть,
до которой по тропам немислим синим.
О, мне кабы в алхимики, в поиски эти,
заблуждения, яви, что инопланетны.
Мне вливать серу, печь уголь, золото видеть,
запах свежего хлеба и сыра у сердца
на далекой, что в кольцах оплывших, планиде.
Не достигнуть её.
Не усердствуй!

Наверно, птицами, чтобы прижавшись, рядом
вот так сидеть в гнезде, чтоб близко-близко,
а, может, облаками мы над градом
с тобой плывём, где жарких молний высверк.

И –

за руки, мечтала я – мы в небе.

...Вот мы и встретились, увиделись, случились.

Но разве в клевере, в меду, в песке и хлебе,
но разве в этом льне тугом, что гребень,
в реке, в тугой воронке, донном иле,
как наваждение моё, как сон, с тобой мы вместе.

Прижавшись пуповинами, лежим мы,
прижавшись сокровенным самым тесно,
зашкаливает пульс, шепчу: «Любимый!»
от жажды пересохшими устами.

И сводит горло песней, стоном, криком.

...Наполненные просто облаками,
наполненные птицами, чтоб кликать.

Нас прежних, нас разбросанных судьбою,
(лишь циркуль знает пропасти на карте),
и всё же в глине, в клевере, в левкое,
и всё же, в порванной от боли, миокарде
совпасть опять,
опять побыть с тобою.

Как тот Пигмалион – тебя из глины,
как Микеланджело тебя тесать из камня,
как Данте ад – тебя создать! – пари он
над этой бездной, падая! Вздывая!
Меня пугает, нет, ни небо, где мы,
меня пугает ни земля, в цвету вся,
с шальных дождях, ветрах, что неизменны,
а эта сладость до и послевкусья.
Всё детство и вся юность твоя, взрослость –
целованная мною беспробудно.
В кого влюблялся, кем отвергнут остро,
кем был притянут, с кем встречал ты утро,
и сбитые колени об асфальты,
и шрам, что на спине, стихи и даты,
и сколько ревности в тебе, все неудачи,
и недостаточность таланта иль избыток.
От нежности я – невесома. Свиток
раскручиваю: вот футбол, вот матчи.
Неважно, живы мы.
Неважно, с кем мы.
И сколько раз оплаканы могилы.
Но я твои держала руки, милый,
ладони гладила. Всем телом я на землю
бросалась рядом... трогала её я
вот эту глину, клевер, мед, кувшинки.
Мы, вопреки, но целое с тобою,

а без друг друга, право, половинки.

Вернись, я ещё помню твои звучные точки-тире,
вернись из Афгана, Чечни, Великой Отечественной,
вернись, мой десантник, с тобою за ВДВ
мы, не чокаясь, выпьем.

Клади свои руки на плечи мне.

У шершавых ладоней мозоли, где пальцы в курок
упирались. О, как мне не помнить, не знать твою веч-
ность?

И теперь криком мне разжимать обескровленный рот,
сколько б ни было лет, ты вернись, ранен ли, покалечен.
Хоть во сне покажись, пусть античном, где шёлк Эвридик,
шерстобитная пряжа времён путеводных и чистых.

Это веслами бьют корабли Визинтий. Маховик
тихо-тихо вращается вдоль побережья, вдоль мыса.
Вот повержен душман, вот повержен в горах боевик.
Урони свою голову прямо мне в крылья коленей.
Виноград моих губ. Телом тело моё разомкни.

Этот детский испуг, он почти не людской, он – олений.
Я давно просыпаюсь и долго, так долго лежу
на кровати, где простыни, о, не из ситца, не бязи,
а из тонкого шёлка. Горячей рукой абажур
повернула к стене.

Я хочу тебя чувствовать в связи

с этим миром, со мной, с нашей родиной, что спасена.
Ты её заслонила. Мне теперь бинтовать твои мысли,
мне от ран защищать все слова те, что в смерти зависли,
мне осколки выскрѣбывать из смс, из письма.

Дай мне знать.

Дай мне знать! Вот рука моя, грудь, вот спина.

Со щитом, на щите, как врезаются люди в ущелья,
как врезаются в землю. Как пульс за сто двадцать. Черна,
как от снега земля. Как бела она от всепрощенья.

У меня вся вселенная в этих ущельях шумит,
у меня во галактике столько костей позарыто.

– Лучше смерть, – вы кричали, – чем плен! Вы вставали,
что щит.

ВДВ, ВДВ – в этих буквах три главных защиты.

Воздух – первая «В», кислород, углерод, горло рвёт,
«Д» – десант, то есть группа, как целое воинство в поле.

Я хотела бы выкричать эту любовь, где моё,
а не общее, но не могу, не могу в общей боли.

Ледяные громады гремят. Так, наверно, гортань
прочищали все русские боги. У той Алатыри
был Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья
достоверный наш Муромец. Можно ли быть богатырьей?
Лишь тельняшка твоя, что на полке хранится в шкафу
и берет со значком, твой альбом, что из армии, ботсы,
бирюзовыми флагами, всем, чем могу, тем зову,
а, точнее, заклинаю: вернуться!

Перевези меня, ладья, на тот берег,
хочу видеть могилу Олега Вещего,
да не надо мне старицу в сонме безверий,
эту речку засохшую, патоку, трещину.
Там высокий курган близко-близко от Ладоги,
подорожник, ковыль, мать-и-мачеха чёрная,
горицвет да сурепка. Хочу, хоть ненадолго
я прилечь у подножья, шептать... ах, о чём же я?
То, что жизнь протекает: века да столетия,
а я всё про хазар, про древлян да про кривичей.
Этот холм, где схоронен Олег, благолепнее,
убедительнее многих жизней ковыльничих.
Вот потянешь за леску – и столько нацепится,
моё сердце скользящее, круглое, красное.
Вот убитый Аскольд, Дир на палубе. Лезвие
одиноким звезды. Не была, но причастна я...
Ибо лезвия тоже коснулась отчаянно,
то ли в явь, то ль во сне. Где могила Олегова,
возле, возле лежу и пронзаюсь мечами я
из-под дёрна, я травами, цветом, побегам.
Между нами – лишь воинство батюшки-Киева
да луна Микеланджело, мрамор Раденовый.
Новгородская летопись мне даль повыела,
то ли в небо – с окна?

То ль пластать нынче вены мне?

Но семья.

Но детишки.

Держусь я поэтому.

Нет страшней тебя, доля, чем доля поэтава.

Как Боян буду петь, прислонясь ко всехолмию,
в глине, вязкой земле, в медуницах и заводи.

Вот упал Олег Вещий сюда камнем, замертво –
на себе рву волосья, о как бы не помнить мне! –
от укуса змеи, череп пнув,

что уздечкою

опоясан серебряной. Крик разрывается

на сто криков в восточную сторону, южную.

Я от боли той плавлюсь, тону в древней алости.

О, не думать мне как?

О, как сдюжить мне?

От потерь я старею на тысячелетия.

Лодка, лодка, сюда! Прямо к берегу, в глине что,

От сожженных мостов становлюсь я приметнее,

от имён, прикипающих к рёбрам – не вынешь их!

Километры тоски...

Световые.

Сатурные.

Расстояния, как до безумнейшей родины.

Меня время кукушечье жжёт корнеплодами,
сребролюбцами, мемами, взорами, дурнями.

Прожигает мне сердце от ребер до лифчика.
Мне бы землю с могилы Олеговой горсточку,
хоть песчинку, хоть зёрнышко, кроху кирпичика.
Снятся вещи кости так, что больше мочи нет.
Кто ещё в высь придёт? Кто лежать – вместо пульса вам
будет здесь вот в меду, в росах, травах, смородине?
На ладье кто? Какая такая экскурсия?
Ибо ветер. Цветы прорастут, не отпустят уж
до нутра. До хребта. До любви. До исподнего.
... Не плевали такие, как вы, в спину родине!
А щиты водружали на стены царьградские.
Неразумным хазарам, сколь мстить? Нету разума
и не станет его никогда. Азиатские
с неба солнца стекают в ладони алмазами.

АРЗАМАСКАЯ. СОЗЕРЦАНИЯ

– И доселе грозить будешь мне? – рывкнул Гришка Ильин,
перекинув Алёнину саблю во левую руку.

... Вот четыреста лет как прошло, словно миг лишь один,
все четыреста лет, что испытываю в сердце муку.

– Ну, целуй меня в очи, я – баба твоя, Арзамас!

Я – поддѣва твоя, я – чернавка, я – женщина-птица.

Говорила Алёна спокойно, светло, без прикрас,
за тебя, Арзамас, сгрызла неба железного спицы!

– Ах, ты, стерва! – в лицо ей кричали в неравном бою. –

Что за ритм, что за АЛЁНА бег, что за крик, что за красное солнце?

...Погружаюсь в века ли, иль ввысь восхожу на краю,
оступилась – и в пропасть по-нашему, нижегородски.
А предатель – Гришатка Ильин целит саблею в лоб,
целит так, что я чую Алёнино там, в груди бьётся
кабы сердце, вся жизнь её: ребрышки, скулы, живот,
перекошенный – сгиньте, предатели горькие – рот!
Вахлаки, лизоблюды, князья, да холопьев уродцы.

Как схлестнётся, бывало, тяжёлая наша судьба,
наше нищенство, мыканье
с самым богатым ублюдком.

У Алёны поверх монастырского платья, покуда стрельба,
мужиковы доспехи, подол её юбки вверх уткан.

«Ты сидела бы дома. Ну, чем не тепло закутка?
Чем не белая церковь? Ужели есть белого чище?
Родила бы мальчика. Целовала б животик. Пупка
розовела б ракушка. Была бы ему кров и пища.
Как из женской груди бы текло молоко, ешь, малыш!
О, была бы питьём – ты! Едою! Любовью земною!
И зачем тебе конь? И зачем тебе лук, стрелы? Ишь,
то не бабья дорога! Не бабья судьбина: войною
да за Разиным Стенькой? Зачем? У него есть княжна,

у него персияночка, войско да сабля-жена!
И тебе ли болеть всей Россиею? Всею странюю?

Не пророчица – баба!

Сидела бы в монастыре,

вышивала бы, шила, ужо у нас щи да картоха...»

«Нет, о, люди, на печке привольно лишь телу. Но плохо
огневице-душе.» Отвечала Алёна: «Я б сдохла
от тоски на заре!»»

Ах, ты пижма моя, золотая трава, приневоль,

ах, ты цвет ярко рыжий мадонн огнекрылых в Париже.

Кабы миру, земле нашей, кабы пуховую соль,
но воительницам не по духу, иное им ближе.

И не так, как сейчас, пошумели бы да разошлись.

Кто в Украину, кто в Польшу, в Прибалтику в тёплые да-
ли.

Арзамасья Алёна – ей смерть!

Восходить на пожаре...

Как огонь её тело лизал, как вонзался в угаре,
как уголья чадили, крестили багряную высь.

А я трогаю землю: там пот и безумье эпох,

там Аленина кровь просочилась в песок да суглинок!

Мне в ладонь. Леденящая! Рвёт из груди моей вздох:
это птица кричит.

Это клонится к травам рябина.

На каком говорить мне на русском святом языке,
языке пепелищ, языками воды со старою?

И невольно я руки тяну: вижу, тянутся руки к руке,
как объятья веков, что смыкаются мне за спиною.

Только вечер: вино, хлеб, стихи, нужный – он!

Тот, который ушёл, было так: буря к буре.

Говорил, что влюблён. Да, конечно, влюблён.

И ещё, может, любит де-юре

и де-факто. Такая любовь. Проще мне

камни, шпалы таскать – вспухли нежные вены.

И такая любовь, как предательский зверь

всей груди расшатавший мне стены.

Всей груди моей крепость разрушивший и
укрепления.

Пал, сломлен, солнечный город.

Разбомблённый, растерзанный до полыньи,

до руины раздавленной, голой.

Проще вечера ждать, чем с тобой говорить,

камнетёсом выдалбливать в камнях и в скалах

новый город с гигантскою нишей внутри.

Вот и я бы тесала, тесала.

До медовых, до яблоневого, травяных,

до рябиновых, ягодных, до сладкой ваты,

до янтарных, рубиновых, до гвоздяных
телефонных звонков виноватых.

Словно можно с другими тебе изменять.

Словно можно молочную, детскую кожу
мне выгуливать. Ты – не понявший меня,
не принявший, не вникший, достать как? Вморожен
ты в грудную пробоину. Чуть зарастёт
и опять кровоточит душевная рана.

Ты – обманная вера моя, кровь и пот,
ты – легчайше тяжёлая ноша, нирвана.

Без тебя я, как без половины себя.

Вот представь: половина руки, глаз и тела.

Звонарями бессонниц... сама так хотела –

Микеланджело глупый! Роден сентября!

Камнетёс – я! Кайло, молот, куча вранья,
в оперенье синицево от журавля!

Только вечер один, повечерняя жизнь:
как чистилище, выгиб и атомный взрыв –
окончательный! Словно контрольным, чтоб вниз,
в тарарам (я же не говорила: «Вернись!»)

ибо вновь: корвалол, валерьянка, надрыв!)

Утром опустошение (волосы рви!),

днём совсем никакая – наверно, напьюсь.

Только вечер один этой горькой любви.

А внутри разрывает запястье мне пульс...

Он звал не меня, но я слышала: «Мама!»
сквозь визг миномёта, сквозь взрывы, сквозь вой.
Пошли в рукопашную, падали в ямы.
И снова вставали. Шёл бой!
Как быть высотой. Как шестою быть ротой?
За нами Москва и всегда, и везде.
Он звал. Он кричал раз, наверное, в сотый
последнее «Мама!» там, на высоте.

И как тут не вспомнить мне то, как рожала?
И фразу извечную, женскую мне
из сердца, как вырвать? В Чечне, на войне
погибли солдаты, полив кровью алой
гористую землю. И я повторяла.
Весь день повторяла. Всю ночь повторяла.
И буду твердить до скончания дней:

– Сыночек, сыночек, тебя нет родней!

...Рожала.

Хрипела.

Начать бы сначала.

Нам женщинам русским рожать сыновей.

Плечистых. И рослых. Взгляните на фото!

В Аргунском ущелье деревья, болото,

трава по колено, кусты и бугры.

Он звал. Слово «мама» шептал до поры:

– Вот кровь оросит почву, станет горою,

а ноги сплетутся, что кроны деревьев

и станут корнями, срастутся с землю,

и кости смешаются с глиной седою, –

Шептал так солдат, телом всем леденея, –

И всё станет мною.

Весь мир станет мною!

Услышь меня, мама!

– Я слышу, я слышу.

Пишу эти строки – и слёзы рекою.

Но как нам спасти, убережь как мальчишек?

Читаю я список погибших. Весь. Скопом.

Дивеево рядом. И град Балахнинский.

В Дивеево Зайцев Андрей родился.

Роман Пискунов из Сокольского родом.

Губернии Нижегородской. Всех жалко.

Ко мне прорывается крик: «Мама! Мама!»

Он хрупкий весною, как будто фиалка.

Но всё же сквозь щебень. Но всё же сквозь мрамор.

Зарайск. 1237 год

Монолог княгини Евпраксии:

Ноябрь течёт дождями стылыми, снегами,

Не ходи, не ходи туда, одумайся!

Кто говорит: «Ноябрь мой месяц!» – застынет в камень,
в ветки растений, в иглы ежей, кости русские.

Кто говорит так, кому полномочия дадены?

Так прижимает княгиня Евпраксия сына Иванушку:

– Как мне отмыться от сих наговоров, от гадины?

Горе заесть как? Какую испечь с маком шанежку?

Чем мне запить, то ль водой ключевой, колодезной?

Тьма наступает.

Метели колючие розданы.

Кто говорит, что ноябрь – это их месяц, розгами
все их слова!

Как мне душно!

О, как нынче поздно мне,

что-то исправить! И время вернуть, что утрачено.

...Сына пригрудно обняв, подхожу к краю терема,
на колокольню, повыше взбираюсь. И снег, точно ячне-
вый,

белый такой, повдоль улицы крошится, дерева.

Бабы кричат, громко лает у лавки собачина.

Девки за мною. И ключница. Старица. Матушка.

Руки слабы – удержать меня. Тельцем я скрученным,
лисьим, как будто лежу, сын со мной тоже, рядышком!

Слева! Родимый! Разбились мы оба – мы пятнышки.

Не побеждённые мы! Не склонённые! И не разлучные.
В плен не сдались хан-Батыю – татарскому своднику.
Не продала своё тело я в рабство и родину.

«Патриотизм» – это слово из века не нашего,
а из осьмнадцатого, посчитай как столетия.

Но есть огромный свет.

Есть воспитание княжие.

И времена для познаний.

...Кормила бы кашею

сына. По ложечке – кушай, дитя малолетнее.

И молоком бы поила. Ржаные колосья бы
нам подарили хлеба, что по пояс – медовые!

Птиц бы кормить нам с сыночком, что возле окосья,
белых зигзиц и орехи крошить бы кедровые.

Но, нет! Лежим мы телами прижавшись, бедовые.

И голоса слышим, что прорастают часовнею,

башней растут! Белой музыкой. Музыку слышишь ты?

Кренится, рвётся по небу над кровлей, над крышею.

Музыка тоже пропитана

словно бы кровью

да над Зарайском, Рязанью, над всею Москвою.

Так вот погибнуть за родину, в пекло, в нутро её,

в шар весь земной мне погибнуть назначено.

В Русь мою! В звезды погибнуть! И снег нынче ячневый.

Этот ноябрь в меня словно бы весь всколошмаченный.

Плакать не надо, народ мой, лежу, вижу небо я.
Синее-синее. Чистое. Небо победное.
Здесь родничок из земли, где икона, поднимется!
Чудотворящий! Лечебный! Вам пить – не насытитесь.
Руки прикладывать к вещи земле. Течь вам именем
да по реке, где глубины да красные рыбыцы.
Щуки да окуни, язи, плотва, ловля знатная.
А я – история, крест и судьба моя ратная.
Так на костёр нас возводят, хотя не колдуньи мы,
на поруганье бросают, хоть телом мы светлые.
Но не бывать тому! Не победить вам Корсуни и
не захватить Херсонес. Наяву, в яви, всеу ли.
Ни в ноябре. Ни зимой. Ни весной. Ни летом ли.
Брысь, окаянные! Пальцы свои уберите вы.
Солнце целую очами своими незрячими.
Быть нападавшим не трудно. Трудней победителем,
небом медлительным,
правды молителем,
веры носителем.
Как поступить мне иначе? Но нет, не смогла бы иначе я!

СОЗЕРЦАНИЯ: ДИТЯ

Встать бы. Умыться. Дитя бы прижать мне к груди.
Дочь! Я больна. За окном снег – наотмашь, дожди.
Бьётся, как дождь пульс под кожей, который в окно,
пульсом – весь город и площадь, небес волокно.

Маленькая ты моя, я шепчу у постели...

Дочь, а ты выросла, что же я про колыбели,
мне завернуть бы, укутать, прижать всё равно...

Дитяtko ты моё! Куклы, игрушки твои.

Дочь, я больна, от своей задыхаюсь любви,
температура под сорок. Всё тело болит.

И вся страна моя, родина: немощь, то спид, то ковид.

Так я болею, дитя, посчитай, пятый год,
так же страна заболела, мой светлый народ
болен расколом, раздором, раздраем, больём,
красным и белым, а кто-то раздет – до испод,
лезет вражда пьяной женщиной, громко поёт,
так изнутри выжигают нас, словно огнём.

И огонь во мне. Ты звонишь, пишешь мне смс:

– Мам, не болей!

– Я больна, но не телом: в нём вес,
то, для чего покупаю я много вещей,
то, в чём зачато дитя моё – песнь, небо, крест,
то, что есть смысл моих мышц, кровотока, костей...

Что же болит у меня? Ничего, пью я валокордин.

Может быть, печень? О, нет, я же не Прометей.

– Дочь! Так обнять бы... И чтоб ни один из мужчин
не причинил тебе боли, как тот прохиндей,
щит я тебе сколотила бы из панацей,
сколько бы есть, все тебе раздала я кровей.

– Мам, не болей!

Бьётся пульсом моим небо и,
космосом бьётся в объём сверхобъёмной любви.
Что же иду я, молочную кашу варю,
что же иду я за детской едою тебе?
– Мам, докурю сигарету. Затем к октябрю,
может, приеду к тебе, ноябрю, декабрю,
в марте, апреле, в июне, скорей в январе!
...Холодно, холодно, зябко мне и горячо.
Дочь мне обнять бы...прижаться, уткнуться в плечо.
Детский рисунок твой: круг, елки, солнце, квадрат.
Все-то созвездья и солнца, и луны болят.
Выйду я в сад, притворившись синицей моей
громко чирикнул воробышек мне: «Не болей!»
И колыбелька плывет из давнишнего сна.
– Спи уже, дитяtko.
Я не больна.
Не больна.

Герострат, поджигающий «Храм чужого голоса»,
чиркает спичками. Кидает солому.
Исчадьё пожара – гремучие соллюксы
подобны закону цикличному Ома.
Герострат поджигающий! О, ты безумен.
Ты – разоблачающий. Гнев в тебе плещет.
Твой храм – бумазейный. Он равен по сумме

истерикам женщин.

Во мне не ищи отголосков чужого:

своим я наполнена голосом певчим

в три горла! Я – вся эти горла! Что снова

лужёные! Выкрикнуть есть чем!

И вымолить есть чем! И выплакать есть чем!

Своим же – своё, что живому – живого!

Когда возношусь к Иоанну Предтече,

когда дорастаю до высшего слова!

Гортань, что кровавит моё исчисленье.

Гортань моя пахнет тогда хлебным колосом.

О, «Храм моего неизменного голоса»!

Какие распятия в нём!

Все – на колени!

Старухи, чьи юбки длинны, все в оборках.

Подруги, чьи лица сегодня безгрешны.

Чьи спины белужьи мелькают в кофтёнках.

Все!

Все на колени!

Все!

Все неутешны!

О, сколько гвоздей вбили вы в мои звуки!

В распятые хрипы!

Я голос раздела

до каждого слога! Сердечного стука!

О, храм мой пронзительный! Солнечно-белый!

Пусть все Геростраты поют пепелища!
Зовут пепелища! Несут запах гари!
Чужое пускай, словно стая не ищет,
голодная, волчья, где твари по паре.
Мне кредо сегодня – познания и знания!
Где ваши погибели. Наших не будет.
Безумный Нерон – в Риме! А не в Рязани.
В Москве Берлиоз с головою на блюде
А вы... впрочем, мне ли топить ваше масло?
А вы... впрочем, мне ли судить Герострата?
Мне так нынче ясно, парнасно, пегасно.
И места под солнцем – всем хватит.

Когда мстить неразумным хазарам идёшь
по открытому стрелам, щемящему полю,
мне тебя не спасти! Пульса нет. Только дождь.
Лишь могу дать слезам своим волю.
И намокла рубаха до нитки.
Такой
нарождаются в схватках из чрева родимой
доброй матушки! Вот он – мой крик родовой,
с перерезанной – вот я – лежу пуповиной.
Потому в этих всполохах жарким – огнём.
Потому в этих всполохах жарких –
жнивьём

восклицаю: не мсти неразумным хазарам,
ибо тоже вернутся они к нам с мечом
по дорогам протоптанным, старым.
Через сто, через тысячу родин и лет
отомстить отомстившим вернутся след в след.

Не тогда, когда Вещий Олег сгибнул днём,
не тогда, как укушен змеёй под конём.
А сегодня для ратных побед.

Нет биенья, лишь дождь под запястьем моим,
там, под тонкою кожей его не найдёшь,
там под тонкою кожей рубец бьётся сплошь.
Не хочу больше мести
тебе, себе, им.

Что мы знаем о них? Кто они? Как они?
Из каких Палестин, что преданье гласит.
Территория плова: лён, рожь, ячмени,
вот одежда и древний, как сон, алфавит.
Савайры, татары, бакрийцы. Племен
и родов от каких они, с Волги-реки?
Говорят, что иранцы они, кипчаки,
что мы знаем о них сквозь Олеговый стон?

А кому нынче дань я, скажите, плачу?
Штраф, проценты с таможи, плачу я налог?

Не тому ль Каганату Хазарскому? Чуть
до весны доживешь: письма через порог.
За машину, за дом, за ремонты дорог.
Что же смертно-то как? Ты бессмертьем продрог.
Обречённая, гиблая – камнем мне в бок,
и стрелюю в затылок, и в крылья – щипок.
Я и, мертвая, им – неразумным – отмщу!
Недосказанным криком
и сердцем убитым,
ибо бьётся кукушкой в ладони хазарьей,
дщерь твоя – я, я – дщерь этой боли и гари,
замыкающая круг безумнейшей битвы...

...И вся история моя – ты, только ты.
И твёрдо знаю, что предашь, продашь, обманешь.
Но для чего храню я лоскуты
добро бы только кофточка в кармане
гораздо ближе, горше и больней.
Вот еду я на поезде – мириться.
Порхают бабочки – предвестники детей
в глубли, во чреве – маленькие птицы.
Как руки целовал.
Как раздевал.
Как гладил ты по беззащитной шее.
И вот с тех пор, коль кругом голова,

нормальных полюбить я не сумею.

Предателю

открытые врата,

все окна, крыши, сломанные стены.

Вот твёрдо знаю: не ходить туда.

Вот твёрдо знаю. Но дрожат колени...

Дыханье рвётся, где там ИВЛ?

Внутри не сердце – фарш! Почти котлеты.

Лишь вспоминаю: как мы не одеты

и как близки,

и как дыханьем грел

мои ладони...Всё! Ну, право, всё.

Икара участь и Далила участь

одна и та же. Небо не спасёт.

Стой и кури, так будет много лучше.

Гляди в окно. Пейзажно. Высоко.

Всё, что ни говорю – тебе все звуки.

Ни горлом, связками, ни даже языком,

а небом говорю! И солнечным комком!

Напрасно, знаю, простирая руки.

Спи, дитя моё. Прижимаю к груди, качаю.

Если петь колыбельную, то о важном и созерцающем.

О царевиче, зайце, Алькоре мерцающем

и про этого волка, что с правого края.

Спи, дитя моё, спи, впереди – годы, годы.
Супротив, поперёк, вопреки – вдаль стремиться.
Покорять и сражаться, собираться в походы
и ловить журавля, и поймать вдруг синицу.
Спи дитя моё, спи. Жили все по талонам мы.
Помню, как мы проснулись, закутались, вышли как:
в магазинах всё есть! Есть бумага рулонами,
хлеб, сметана и соль, водка. Одеколони
перестанут травиться. Шелка есть с шифонами,

да хоть шейте кафтаны, хоть куртки с манишками.
Если честно сказать, в девяностых рождённые,
не такие, как все, им бы хайпы да блогерство...
Не стабильна страна! Ах, кусок мой запроданный,
вместе с солнцем
и с небом за доллары.

Это хуже утраты. Сиротства. Угона ли.
Словом, Запад. Тлетворный, развратный, гниющий.
Словом, Азия. Нежная, странная, грубая.
Но пока я качаю дитя: спи, мой лучший,
спи, мой зайчик, воробышек. Любо нам, любо нам!
Я рожала тебя в песню Виктора Цоя.
Я кормила тебя под картиною Клуциса.
А затем! Что затем? Ясли, сад детский, школа,
танцевальный кружок, спорт и секция боя.
На задворках большого футбольного поля

мусор, щебень, шприцы. О, доколе, доколе
матерям от прошедшего времени мучиться?
Пожинать это время. И как его выдержать?
Как бинты приложить подорожника с пижмою.
Как кудели мне прясть
и лекала медвежьи?
Спеть: «...а видит ли воин звезду близ Алькора?»,
Спи дитя моё, спи. Повторяю прилежно.
Ещё утро нескоро.

Коромыслова башня – навеки моя!
Возлюби, придави, камнем ляг мне на грудь!
Вам – проект.
Вам – название книг бытия.
А мне – жизнь, а мне – смерть и всежизненный путь.
Мне ни прозы не надо от вас, ни стиха.
Я хочу эти камни под грудью вдыхать.
Я хочу их носить в чреве вместо детей,
вместо птиц и зверей, вместо рощиц-полей,
Коромыслова башня – моя на века.
И не смей, и не смей: тело девьё поёт
под камнями её, кирпичами её,
посмотри: вот сломался, коль шла, каблучок,
и ведро в коромысле вцепилось в крючок.
Упадёшь – закопают, я знаю, за что:

вот за эту пропащую, за красоту,

вот за эту высокую, за чистоту.

За Никольской, за Тайницкой вниз и вверх съезд,
лучше буду виновной, чем так, без причин.

Ибо общество наше предаст, выдаст, съест,
потому и люблю его, выход один.

Как и вход через арку. Идём же, идём!

Сколько можно веков мне – Алёной – лежать
в нашей волжской земле? Подстели хоть пиджак
в мой вмурованный плач,
в мой вмурованный дом.

Я же чувствую глины замороженный ком!

Как достать эту башню из девьей груди?

Приложи своё ухо к златому холму:

не спасёт красота, не спасёт. И не жди!

Красота для спасенья совсем ни к чему!

Я не размениваюсь на обиды.

Я не растрачиваюсь на них.

Хочу, как солнце кричать: «Гори ты!»,
хочу Дантесом я быть убитой
в российских рваных снегах живых!

Хочу, как травы.

Хочу, как рыбы.

Хочу молчать. И не помнить бед.

Пусть камни вслед – но какие обиды?
Пусть раны в сердце – но в ранах свет!
Опять же солнце. Опять же люди.
Обиды – слабым, пустым, что дым,
а мне прощение, как орудье,
а мне любовь к не прощавшим, им
мужчинам, женщинам. Мерить ссорами
ужель возможно короткий век?
Раздраем, сварами и раздорами,
затмением, мщением и укорами.
Уймись, бессолнечный человек!
Уймись, обиженный и нанизанный
на острый сабельный штык обид!
Ты мной ушибленный укоризною,
в тебе мой весь Арарат болит.
В тебе все нити мои Ариадновы,
в тебе, о, мстительный, зуб за зуб,
своей обидой навек обкраденный
иль на два века – в соцсеть, в ютьюб!
А ты мне дорог. А ты мне люб.
Пусть буду я эпицентром Дантовым,
пусть все круги – я, как есть, вокруг.
А китежградским – тире атлантовым,
нет, не присущ мне обид недуг!
Вот сердце, сердце да в рёбра – вожжами,
вот мысли, думы – в разрыв, клубя.

...А я готова рубаху с кожей хоть
отдать последнюю за тебя!

И жизнь готова – бери всю, властвуя,
себя готова – в горнило дня.

Глоток последний воды ли. Яства ли.

Прости меня!

...И пала я тогда на землю, которую целовать,
и воскричала: где чаровники твои, кудесники, обавницы,
берегини?

Неужто они обнулились, обрезжились все в слова,
не с красной теперь строки, не с золотой, не с синей?

Где вы волхвы мои, сказители, урочники, древопочитатели,
тали?

к какой такой звезде неведомой припали во смутных временах?

В солярисах каких, в провальных льнах, скрижалях,
и пала я тогда на землю всю в снегах!

К чему страданья все – Венериным артритом
отрубленных кистей к чему болеть? Их нет.

Всё сведено к нулю – все оси, все орбиты. Но отчего болит
так,

где пряник сладкий, плеть?

Всяк светлый дух теперь с ошипанною шёрсткой,
всяк тёмный дух теперь ощерился. Всё – ноль.

Как побеждать теперь? Щепоть нас, капля, горстка,
всех сгибших, всех атлантов, бореев – слева боль.

Голь выжженная, голь!

...Корчится во мне, догорает пламя!

Широт, глубин, полнот. Ноль – тоже единица.

К нулю свели семь нот – и пальцы смёрзлись в камень.

К нулю все тридцать три из алфавита знания.

Обугленный мой рот – песнь выговорить тщится!

И воскричать, о, где сырая мать-землица.

Моей стране всегда давали алкоголь

в такие времена, и ружья – застрелится,

избу, чтобы гореть и в беге кобылицу.

А нынче ноль!

...И пала я тогда на землю, которую целовать,

которую целовали прадеды вещи, деда.

Как я могла вот эти горы равнины, рвы, каждую пядь,
как я могла обнулиться?

Обуглиться и не ведать?

Я же не просто так шла, шла, шла.

Ты была! Большая такая. Как мама. Сильная, много силы.

Я же тебя в платочек клала на три узла.

Я же, как девушка честь, я же тебя хранила.

Бабушка с мизерной пенсией, в сказке у Грина Ассоль,

в троллевом королевстве тролль – это тоже ноль,

это рыбац на Волге, токарь и кукла гиньоль,

нищий, барыга, петрушка и в драмтеатре актёр.

Ноль – это сила. Ноль – это мило. Красный стели ковёр.
По нему поведут судить-рядить-наказывать-сказывать.
Какое мне платье надеть белое? Красное?
С цветочками, оборками, кружевами?
Какими мне нулевыми плакать словами,
какие мне вырывать из себя нули?
Из какой такой обнулённой моей земли?
Нет у меня священных моих писаний.
Не сберегли...

* * *

Когда случались времена тяжёлые, переломные,
когда на Русь наваливалось небо каменное, многотонное,
когда шли война, чума, оговоры, сплетни колючие,
приходила на помощь Сподручница и Споручница –
Поручительница! Вот бы, чьи прикосновения, слова, слё-
зы почувствовать!

Подавать варежку, коль свою потеряла вязанную
или плед на ноги – Сподручнице,
или тёплую шапку со стразами.

У Сподручницы много помощников: ободряющих, окры-
ляющих,

отдающих, спешащих на «Скорой ли», словом, много дру-
зей-товарищей.

Помогающий, это не тот, кто, надев всё самое лучшее,
идёт в кафе с тобой, просто попутчиком.

Назовём его условно ангелом-Иваном, ангелом-Михаилом, ангелицей-Татьяной,

одним словом, помогающий, отвечающий на смс среди ночи,

помогающий – когда ты звонишь ему пьяной, захлёбываясь от несправедливости, от всякой хрени, между прочим.

Когда заикаешься, произнося слова, а ведь уже не маленькая, почти что десятый десяток. Иногда я думаю, оттого я жива, что у меня есть поддерживающие, помогающие, проверяющие порядок.

Золотки мои, да светятся ваши имена!

Да придет царствие ваше, да будьте вовек вы живые, нетленные.

Ибо – корку последнюю, рубаху на плечи из льна, землю, радость и звезды, а если вдруг надо – вселенные.

Вот бы я им: берите, берите, тоже берите моё!

Любую строчку, рифму, тему о детстве ли, о материнстве. Вот бывает так в Arrival Hall во Внуково срочный прилёт, а ты в каком-то вакууме, в единстве.

Если бы я была такой помогающей, отдающей, притягивающей,

умела бы размыкать небеса, что тяжёлыми тучами грубо нависли.

Если бы умела в чужих горестях растворяться вся

не в телесном, духовном смысле.

Я бы сказала: о, эти женщины, женщины,

о, эти мужчины, мужчины,

мы же с вами на одной земле, на одной маленькой этой земле.

Подскажи вариант хотя бы одной полпричины
здесь остаться помощницей, свет находящей во мгле.

*МАТРЁНЕ ВОЛЬСКОЙ, выведшей детей в тыл
из фашистского окружения*

У кого тапочки, у кого босоножки, у кого сандалии.

Дети! Нам долго идти да по лесу, по травам, по гравию.

У Матрёны дорога – щемит внутри.

Идти надо, дети, за нами горит, всё горит,
лютуют фашисты. Людей, как гвоздики, сжигают в печи.

Гвоздикою – мать. Гвоздиками – дети: все три
дочурки пылают. Кричи же, кричи же, кричи!

Но голос – не пуля.

Но крик – он не камень в ночи.

Фашня, одним словом, зверьё, как набег саранчи.

Горит вся земля. И поэтому, дети, нам в путь,
пока что июль, есть запасы еды и воды.

Матрёна – сама молода: её плечи худы,
она, как ребёнок ещё...

Но война не даёт продохнуть.

Скорее, скорее!

И шли они, шли они, шли,

уставшие ножки дитячьи в грязи и пыли.

Рвались босоножки, сандалии, тапки рвались.

О, сколько детей! Сосчитай. Подари детям жизнь:

три тысячи двести, считай, и ещё двадцать пять,

кто ягоды ел, кто грибы, а кто щавель сухой.

Почти три недели шагали...немного поспать

и снова идти: солнце, небо и ветер лихой.

О, нет ничего пострашней, чем дитя, весь в слезах, на вой-
не,

когда вокруг танки, и как обойти не извне,

а прямо в тылу у врага, слыша чуждую речь,

и, видя гвоздиками, люди горят, из них делают печь,

горят васильками, ромашками да иван-марьей горят.

А вы мне про рай говорите...

Идти через ад! Дети – в ряд.

Деревня Смольки в Городце приютила детей.

А дальше – ни шагу! Они не дойдут. Так слабы...

их мучает жажда. Стелите скорее постель,

несите одежду, несите питьё и хлеба!

Матрёна Исаевна Вольская – платье из льна

на солнце всё выцвело, белый горошек поблёл,

беременна сыном она, она сыном полна.

Но всё же детей привела. И спасла! Ваня, Вася, Витёк,
Мария, Ирина – о, сколько здесь русских имён,
три тысячи двести ещё двадцать пять Тань, Алён.
Детей, словно песен, детей, как советских знамён.

Не ради наград и не ради тщеславья, о, нет,
а истины ради и высшего духа, чей свет
гвоздики, гвоздики – их много, их целый букет,
в Смольки, в Городецкий район, на одну из планет.
– Смотрите, смотрите, они вырастают. Они
из этих ромашек да из васильков и гвоздик.
Одно только помню: шаги я детей вдоль стерни,
ещё из лазури и солнца Победы пресветлейший лик.

Ничего не забыли? Иль всё же забыли чего-то?
Я напому тогда. Освежу раз, наверное, в сотый
в вашей памяти: это война, нет святее которой.
И не вздумайте вы примирять и оправдывать свору
гитлерюг, что напали на нашу страну. Помни место:
алой кровью и болью защитников крепости Брестской!
Как язык повернулся, ровнять, что от века неровно,
словно скважину чёрную, словно бы беса с иконой.
Тех, кто гибнул и кто не сдавался. Ты видел их кости
от Москвы до Берлина? Их много костей на погосте!
Череп, позвоночники каски и звезды героев!

Так гляди во все очи! В блокадные дни Ленинграда.
Слушай слухом убитых и воем в полях канонады.
Слушай пеплом сожжённых детей... А они жить хотели!
Свои ручки тянули, о, Господи, из колыбели.

– Мама, мама, родная. А мать их убитая в поле.

Я покуда жива. Вам напомним, всей болью напомним.

Имя Зоя, как небо. А вы про медали, про гранты.

Имя Зоя – сама, словно грант, словно купол высокий!

Вы забыли про это. Вам в мозг что ввести? Импланты?

Про какое вы там примиренье? Они – оккупанты,

что пришли нашу землю топтать, никаких аналогий:

про ГУЛАГ и концлагерь. Про Гитлер и Сталин. Не надо.

Это разные вещи. Иные координаты.

Говорит либерал: «Ничего нам за это не будет.

Примири́м мы всех мёртвых. Ведь им всё равно там, в мо-
гиле!»

Я схватила такого бы да за пиджак там, где груди –
рвись, рубаха, летите вы пуговицы в пыль и

никогда, ни за что! Никаких вам таких словоблудий.

Где всеобщий психолог, чтоб мозг излечить бы, изгибы,
извращенье истории и русофобские игры?

Чтобы наше святое не трогали пальцы кривые,

не совали в кровавые раны, не лезли бы в семьи,

в наши кухни и спальни. Мы те, кто безмерно живые,

нас не сломят, ни в спину проклятия, что ножевые.

Ибо деды у нас воевали. И мы словно с ними!

Вот солдатик молоденький. Мальчик совсем он, мальчишка,
ка,

а вот девушка – милая, славная, столик и книжка.

А вот женщина и вот старик – было время.

Их убили фашисты. Фашистам не будет прощенья!

Никогда не помирятся. Мы вам не братья, не братья.

У фашистов одно есть название: низвергнутый в ад он.

И не надо из ада его возрождать, о, не надо.

И не надо ни с кем примирять. И ни с тьмой, ни со светом,

вглубь планеты его иль совсем позамимо планеты.

...Как же редко я в церковь хожу. А сегодня пойду я.

И за деда свечу я поставлю. Ах, дед мой, Артемий!

Он убит в сорок третьем. С мальчишкой, старухой со всеми.

Как же я помолюсь за него, в пол воздета!

И сквозь слёзы, шепча так неистово:

– Дедушка! Деда...

...им, отдавшим за нас жизнь,

им, израненным в гулких окопах, идущим на смерть,

им, кричащим из-под земли, что фашизм

был низвергнут, что был побеждён. Как теперь

объяснить то, что памятники, что скульптуры войны

снесены в городах: в Львове, в Талине, в Праге. Как так?

Как рука поднялась? Вы за что их, за что, пацаны?

Впрочем, слово иное нужно здесь, иной нужен знак.
Слово «зверь», слово «нелюдь». Очиститься, как нам от них?

Как нам правду свою отстоять, правду дедов своих?
Вот бы встали они, вот бы встали они из могил,
вот бы снова, кто в танке сгорели, из пепла взошли.
Кто на mine подорван, тот снова бы сросся, скрепил
в своём теле бы швы, вот бы встали они из земли.
И пошли бы они, и пошли бы они, и пошли!

А звонарь бы на вече позвал, зазвонил! Вострубил!
Журавли бы на небо взлетели, всех их – журавли!
Во все тысячи тысяч, во все миллионы их крыл!
– Ставь на место! Впаяй! Вознеси. Там, где были, оставь.
Ибо трогать сакральное, ибо сносить память – грех.
До семи колен грех! До потомков своих грех, как явь!
Всех на место верните солдат, всех снесённых, всех-всех.
И всех маршалов, воинов! Каждого, кто умирал.
Каждый камень снесённый, цветок каждый, мемориал!
Вот читаю, читаю фамилии...

Сколько глаза

мои зреть могут! Что у черты, до черты и что за
эту слушаю музыку, гимн, песнь и скорбный набат,
у кого дед погиб, у кого сын, отец, мама, брат.

Я без слёз это слышать совсем не могу, как вокзал
я наполнена – душу мою разрывающей жуткой волной,
и всё чудится слово прощанья то, что дед сказал

моей бабушке, что с семерыми осталась весной.
Что же думало небо, забравшего да от семьи
не подросших ещё, не разумных детей всех семи?
И остались по линии мамы бабьё да бабьё,
словно нить жизни сорвана напрочь, разъята насквозь,
всё мне кажется то, что помочь я могла бы всерьёз,
то, что детям внушу – это русское племя моё!
Залаю на небе все дырья, заштопаю их.
Не хочу, чтобы зло побеждало, хочу, чтоб добро!
Тихо, тихо-то как, вспоминаю когда я о них,
громко, громко лишь сердце стучит мне левее в ребро.

Не женись, не женись, Данила-мастер,
высекай свою каменную чашу.
А коль женишься, ты же поэт, то разве
возлететь ли в твою, где берёзы, мне чашу?
Разодрать ли грудь мне да об острую ветку?
Да сронить ли мне перья на мягкие травы?
Как узнала про весть твою, пью я таблетки,
запиваю я горьким настоем купавы.
Многим головы вскружены, многим вскружила,
многим, кроме тебя! Не женись ты, Данила,
мой кудрявый!
В этот сонник и в донник, да в топи-муравы,
да ещё в клеверах, да в медовых соцветьях.

А коль мастер-Данила женился, то, право,
ты мне душу не рви по ночам до полтретьего
никакого Карнеги, ни Фрейда, а разве что
пару строк от Данилы (Данилушки-мастера).
У поэта судьба: по постелям шататься,
у поэта судьба: пить в кафе, всклень спиваться,
у поэта судьба: нож да к горлу бесстрашно
графомана, себя возомнившего гением!
Эвон сколько их! А для поэта – горение
и парение! И твою песню мне слушать
так, чтоб душу мою – в решето.
Хочешь, рыбой
приплывать буду в руки твои? И на суше
становиться русалкой? Иль птицей? Иль глыбой?
Чтоб из камня тесал ты меня: грудь и лоно,
руки, голову, губы! Впивайся! Глотай же!
Сколько было мужчин безнадёжно влюблённых,
было, кроме тебя, не влюблённого даже!
Лучше прямо из камня ты режь свою чашу!
Да узоры по краю: ласкаться устами
к твоей чаше. К тебе не получится, знаю:
мне с женатыми дело иметь не пристало.
Не женись, не женись, ах, Данилушка-мастер!
Твоя суженая старше нас на столетье.
не родит она малых сомят, в белой пасти
сохранить много слов не сумеет, поверь мне.

Впрочем, лучше не верь, не суди, не встречайся
на твоём Гребешке, возле дома тринадцать,
под землёю, я слышу, Данила, мой мастер,
голова ты кудрявая! Бьётся, что ястреб,
разве только окрасом светлее да вихрем –
подержи за крыло – бьётся там соловыха.
Тихо. Тихо.

И я помолчу.

И как в сказке,

так кончаются сказки от мала-велика.

На той свадьбе и я была – их или ихней,
как филолог считаю, что их! И пиррихий
отличив от спондея – ты очи не засть мне!

Я сама их зазастила, слёзы – что камни!

Пусть из каждой слезинки, Данилушка-мастер,
пусть из каждой росинки – узоры на ткани!

Мастери свою чашу! Большую, что космос!

...Я бы голову да на плечо, где рубаха.

(Но нельзя на плечо, там мне дыба и плаха!)

Мне достаточно запаха, слова, хоть лоскут.

Всех женатых прощаю. Всех, кроме тебя я.

Всех, кто спился, скололся – поэтово семя.

Всех, кто жаждал красавиц, в постели таская,

Да и я-то, я не соловыха какая,

просто баба живая. Прошло моё время!

Да и речь обо мне не идёт. В персонажах

я не числюсь, ни в памяти, в номенклатуре.

Не женись ни на ком!

Вообще!

Этой блажи

недостойн бессмертный де факто, де юре.

В колыбели из бересты, в люльке-качалке
по берёзовой речке плыву и плыву.

Не могу сдержатъ слёз, а точнее едва ли
я их сдерживаю. А подол о траву,
а точнее трава о подол – цепко, хватко,
так зубами цепляются, когтем, рукой.

По берёзовой речке, по лесопосадке,
я без этих берёз сирота сиротой.

О, как грудь мою рвёт ветер, переполняя,
обжигая, вскрывая, что правду, что суть.

Лодка-люлька – туес, как малина лесная
я лежу. О, я сладкая, пей меня всю,

в горсть бери! Мир заплакан росой и дождями,
мир зарёван, завернут в тугую парчу.

Из себя я своё, словно соки ташу,
как берёза, истерзанная топорами.

О, Мария, нет, я не терзаюсь. Я лишь
поняла: жизнь моя быстротечна, конечна,
жизнь берёзова, травна, цветаста, сердечна,

оттого ты из каждой берёзы глядишь!
О, Мария, на каждом цветке ты, на ветке,
нет, не так, как Иуда, что любит осины,
что проданся за эти скупые монетки.
Неужели так можно, спрошу я, так сильно?
За берёзы я небо ломала, за крылья,
за берёзы сражалась – леса их и рощи,
за карельскую, карликовую, чьи мощи
хаял мне безголосый, черешневый дрозд.
Моих слёз бы хватило на сотни берёз,
чтобы в засуху их поливать вместо гроз.
Мне без них – ад, тюрьма, невозврат, дверцы морга...
По берёзовой речке плыву долго-долго
до высоких словес, до распухших желёз.
Очищаюсь: сосуды, вся память, вся жизнь,
очищаюсь: я – лиственная, я – прощённая.
Для кого-то, как ночь я – ненужная, черная.
Для берёз я – белейшая,
только коснись!

Святая Зоя

На казнь своего непорочного тела,
и кости ломали невинные, девичьи,
и ноги кромсали. Всё тело болело.
А в ранах птенцы словно плакали пеночки.

Фашни было много, она в одиночестве,
сказала лишь имя «Татьяна» без отчества.
И больше ни слова. Огонь разжигался так,
и больше ни слова про месть партизанскую.
Деревни, деревни, там бабы с детишками,
фашня забрала всё, всех кур, живность разную.
Сидеть надо тихо, не слышно, не слышно нам,
как Зою пытали, как жгли безобразно как.

Но сколько лет минуло: крик над деревнею,
он родину нашу на нитке удерживал,
и если ты выйдешь однажды в переднюю,
и если не выйдешь, услышишь, как стержнями,
как сваями крепкими, словно бетонными
её голос хрупкий мир держит упорами.

О, золотко, девочка, милая, честная!
О, сколько ты вынесла, стала ты песнею,
ручьём, что с живою водою калиновой
и солнечным ярким лучом над рябиною.
И птицей, той самой упрямою пеночкой,
что в ранах вила свои гнёзда уютные,
и кости скрепляла разбитые девичьи,
и вечность свою вознесла над минутою.

Могла бы, я сердце своё перебросила

тебе бы!

Из нашего мирного времени.

И тело своё отдала без вопросов бы
за родину нашу! Оно неотъемлемо
от Зои!

Я девочек бы называла, как Божие
всех именем Зоя, как высшее, сильное!
Ужели возможно все это, возможно ли
все пытки, все страсти снести и насилия?
А Зоя снесла. О, мне в руки патроны бы
и пальцы не дрогнули, право, не дрогнули!

Эй ты, кто насиловал, а после фоткался,
эй ты, гитлерюга, кто вешал, иди сюда!
Тебе бы в лицо – кислотую и хлоркою,
тебе бы яйцо поскоблить зернотёркою.
И ты, кто приравнивал Сталина к Гитлеру,
одна вам дорога – всех в ад стеклобитовый.

Поэту не только лишь песни да творчество,
поэт может многое, кроме пророчества,
поэт может в бой,
как солдатик простой.

Поэт может в поле сражаться за правду.

Огнём и мечом.

В визг, в разрыв, в канонаду.

Я тысячу раз злу давала отпор,
мне Зоя глядела звездою в упор...

Бессмертная Зоя! Вздываются руки.
Святым выпадают вселенские муки.

Попробуйте только: здесь наша победа!
Здесь наше огромное, наше святое!
Встаёт из-под черного гравия Зоя
и ртом обожжённым: не смейте про это,
фашизм не пройдёт, ваше вшивое гетто.

Если лошадь, то хромая, если вишня, то зимняя,
если теплоход, то «Булгария», если поле, то Ходынское.
Засеваем телами планету: тюльпаны – мы, розы – мы, лив-
нями.

Отношения – рыночные. А где же оно, право Римское?
И где же она справедливость? Спасение?
Не могу говорить спокойно. Могу лишь плакать...
Я уста раскрошила в такие моления!
Уронила себя всю, как есть, на колени!
Как дальше нам жить? Там, в дыму саркофага?
В топке людской. В трюме подводном.
В Невском экспрессе. В Норд-Вестовой тьме?
Или неужто, виновным – свобода?

Стрелочник – в камере.

Пешка – в тюрьме?

Жадность, халатность, мздоимство, сутяжность,
и – за презренный металл жизнь людей!

Сына у матери скрали! От кражи
кто стал богаче, спроси у судей...

Катимся в пропасть! В исчадь! В потраву!

Все на колени – кто прав, кто не прав.

Пальцы дрожат мои – Римское право.

«Жить мы хотели!» – я слышу сквозь сплав.

«Жить мы хотели!» – я слышу сквозь небо.

Чёрное солнце сквозь, брешь кораблей.

Сквозь кирпичи.

О какое плацебо,

выпить микстуру от зла на земле?

Чтоб не пила, чтоб ни съела – всё яды!

Гари! Дымы! Распродажная власть.

Вновь в книгу Мёртвых нам вписывать рядом

сотни фамилий. А мэр будет красть,

и набивать олигархи карманы.

Всё. Не могу. Шрам на шраме! На ране!

Как же так низко-то можно упасть?

Вот я теперь состою вся из пепла,

вся я из пламени, взрыва, отрав.

Где же ты есть справедливость? О, где ты?

Римское право, управь!

По белому стволу, по веткам, листьям, почкам,
ой, какой ветер, невесть откуда гроза какая.
Ощущаю всю землю – у меня берёзовый позвоночник,
и бежать-то мне некуда, вросшие, не убегают.
Вросли позвоночниками берёзовыми
так, словно мы продолжение космоса.
Мне талдычат: здесь плохо, но как под наркозом
под воздействием эпоса, пафоса, логоса.
Умирать, так живою, не умершей, сбившейся,
с вечно съехавшей крышею, горем убитою.
У меня позвоночник берёзовый высится,
у меня миокарда вся сплошь алфавитова.
У меня под берёзой –
отцовые косточки,
у меня под берёзами деды схоронены.
Как могу я оставить их?
Первоисточники
для меня они – родненькие под бетонами.
Я берёзы их глажу – шершавую родину,
прижимаюсь к стволу, обнимаю руками.
Сердце торкнется вдруг: словно кто-то вдруг камень
в моё истинное взял и бросил сегодня.
Не оставлю я их, хоть мне трудно порою
отбиваться от тех, кто несчастья мне кличет.

Там под кожей, проще сказать под корою,
словно Чехова «Сад» вырубает мне лично.
Помогите, пророки мои, мои корни,
мои в люльке-качалке сестрицы-берёзы,
дед Иван, дед Артемий и всех непокорней
моя спившаяся (умерла с токсикозе)
всеблагая свекровь. Здесь берёзы, берёзы
на Гнилицком погосте, что возле Вереи,
выются бабочки, ласточки, пух и стрекозы,

ибо наши умершие – живших вернее!
Оберегов надежней, молитвы, камланья.
А ещё баба Шура и бабушка Анна.
Я за всех вас молюсь: кто с верёвкой на шее,
кто от тяжкой болезни сторел, утонул кто.
Мой берёзовый лес весь исходит от плача,
не боюсь я охайников, тычущих глупо
в мою белую спину, могу сдать я сдачу.
Но на ненависть я отвечаю любовью
на отъятость и на неприятие прочих.
Ибо бредит берёзовой сладкой любовью
и крепчает берёзовый мой позвоночник!

Когда меня причащают, то слёзы,
точнее слезинки, две маленьких капли

они наворачиваются: вкус яблок
и сока, как будто из белой берёзы.
Меня причащают, меня очищают,
под белые руки ведут на причастье,
а там всё равно, я богата, нища ли,
талантлива, счастлива или несчастна.
Меня причащают берёзовой родиной,
меня причащают путём моим пройденным!
Меня причащают, о, милые, милые,
убитым поэтом Борисом Корниловым.

Меня причащают навеки, взаправду так,
как будто пред смертью, как будто пред жизнью.
На мне платье белое в крапинку, мак
цветёт по подолу анисом понизу.
Немного похожа на флаг моя юбка
(ты как-то шутил, что я в ней – правдурубка,
и что со мной сделают, что не помилуют,
как будто с поэтом Борисом Корниловым!)
От зависти, злости,
ах, бросьте вы, бросьте,
от чувства соперничества, превосходства!
...Поэтовы косточки там, на погосте.
Как душит меня больно чувство сиротства!
Ну, что?
Разглядели во мне, в каждой фразе:

о, как она пишет, что за безобразие.

А есть ли там сердце в груди – сердце волчье?

Не им ли глядит она, выданным в ключья?

Не им ли рыдает отчаянно, горько
огромной звездой одинокого волка?

А я здесь на родине в граде-Семенове,
и камень мне лёг в мою грудь оголённую
на место, где сердце когда-то стучало,
на место, где свято почти что столетие.

Так много, что страшно!

Так много, что ало!

Где сердце стучало – пучки во мне света!

Огромные, нежные, точно святые
причастия, суффиксы и запятые!

Убитых убить не получится дважды.

Воскреснуть – одно есть всечасное свойство.

Меня на причастье ведут.

Все мы ляжем...

Лишь книги сиять будут. Книг наших бойся!

Стихов наших бойся! И образов бойся!

Куда б ты ни бился, в пустотах рождённый,
в пустотах, в пустотах стеклянных гружёный.

Одной пустотою – словестный свой мусор
оставь ты в избе! Пустотою укусов!

Выводят меня, но уже причащённой,
и в руки – просвирку,
в уста – ложку с мятой.
Молчу – причащённая, чистая, сильная.
Меня причастили Борисом Корниловым
в его день рождения двадцать девятого!

...МОГИЛЫ:
вот глинозёмы, лебеда, чабрец, мята
да курослеп.
Прости, что я походила
(ты, там – в глуби!), я то рукой, а то пяткой.
Иначе как же мне прибраться? Как порядок
мне навести, стакан как вылить мне водки?
Могильный холм похож на луковы грядки.
Но есть могилы,
что как будто сиротки.
Они заброшены, забыты, полынны.
Наскочит сердце на такие,
что мины
они взрываются своим запуснем!
(Перед такими я встаю на колени!
Полю на них я сорняки-чертополохи...)
И также ходят между трав выпивохи

и собирают: хлеб, конфеты, печенье.
Там чьи-то кости, позвоночники, колени:
миротворение сильнее, чем боренье.

Итак, к тебе или ко мне на могилы?
Мой первый муж схоронен в граде-Свердловске,
моя подруга: её косточек горстка,
моя соперница – по ней я ходила,
но не нарочно: сорняки виноваты,
они росли угловато, горбато.

В начале кладбища на входе – прижаты
«братков» могилы, да певцов, да магнатов.
Кого в машине, а кого-то в подъезде...

Скажи, к тебе или ко мне канем в бездне?

Я всех оплачу: слёзы лили и лили,
свои оплачу – все родные – могилы.
Отца и деда, мамы, тёти и дяди.
...А у отца-то много радужных лилий,
у мамы бабочек, стрекоз быстрокрылых.
О, как вы здесь да без меня, своей «чади»?

Вот снятся, снятся нашей улицы тропки:
приехал папа да из командировки.

Он маме Павлово-Посадскую юбку
привёз! Такую в клёш всю и расписную.
Привёз он деду деревянную трубку,
привез сестре тогда он куклу большую.
А мне-то что? Мне, не родившейся, в чреве
у моей матушки, мне – пятинедельной?
Халвы да масла? Помню – был понедельник,
и помню маму, всё на самом-то деле.
Ещё корзину из лозы, помню, ивы,
в таких приносят в клювах птицы младенцев!
Да! Будут, будут все навеки хранимы,
вот деться бы мне, но из детства не деться!
Моя шершавая ты, родина родин,
моя корявая, но всех-всех ты лучше!
...Кладу ириски на могилу я тёте,
кладу печеньки папе-маме до кучи.

Моя прабабушка из дальней Сибири,
ох, семерых детей она поднимала.
На лесосеке, на медовой псалтыри
она писала про пчелиные жала
большую книгу «Яд и польза трёхядья»:
стиллет (от Брутова стилета – убийцы,
который в спину цесарёву вонзится,
дитя, не смей, дитя, о, Брут мой, не надо!)

Мой дед играл на балалайке, колья выпьет,
отец мой строил комбинат в Красноуральске.
Служил он в Чирчике – лучами умытый,
старинный город весь цветущий, весь райский.
О, сколько раз нам гимны пели куранты,
вы, вправду, верите, что мы оккупанты?
Отец от горькой кислоты медно-серной
к сорока двум своим годам задыхался,
на Белоярской взрыв был атомный первый,
кружились листья в стиле джаза и вальса.
Рожали женщины: кричали и выли,
такое свойственно сиротство
атлантам!

Вставать из грязи, возрождаться из пыли,
и всем семейством из холодной Сибири:
совки да вата – шли мои оккупанты!
Бельишко, платья да сандалии только,
на небе Сириус – звезда наша – волка,
и красный купол, и Свердловская стройка.
Нет, ни ампира, ни классицизма, ни барокко,
а трубы медные Эльмаша, Тяжмаша.
Затем по радио: Достроили! Финиш!
Конфеты «Ну-ка отними», мультик «Маша»,
я – оккупантка, фиг назад, что отнимешь!
Все деды – воины и в гипсе, и в бронзе...
Кидаюсь к спискам я, на кладбище если,

на камне высечены все наши песни,
сто Ивановых, сто Васильевых. Возле

я каждых списков, и Девятого мая
глотаю слёзы, я даплюсь, но глотаю.

Меня зовут и зовут в небо птицы!
Ещё, ещё... я не могу остановиться.

Ещё фамилия.

Да отчество.

Да имя.

И не достать меня из прадедов. Не вынуть.

Я Ивановых да Васильевых фанатка
убитых пулями, повешенных, казнённых.

Такая вата – я, совок, оккупантка,
из двух фамилий род составлен мой, сплетённый,
в нём есть художник, хлебороб, певец, учёный,
как оторваться мне от списков, от колонны?

...Уколет в сердце: под землёй гранитной кости.

Вот лечь бы в травы мне обнять всех, прижаться!

Сквозь пласт земли,

сквозь эти гвозди,

эти доски

благословенно будет ваше оккупанство!

За пределами времени, вне его, внутри бессмертья,

глаза мои, не отвыкшие от детства ребёнка.

Вот назвала же какая-то нас бестия
страна, мол, бензоколонка!

А моя бабушка из того самого места,
из того полушария Сибири, где всё начиналось,
я-то помню: вырубить сколько леса
всей бригаде – план. Всей бригаде усталость.
Раньше было иначе. А в Санкт-Петербурге,
если верить истории, углем топились.

Моя бабушка – не Гумилёвская или
не Ахматовская – костью крепче и шире –
хлеборобка, ткачиха. Ей Чехов – на вырост.

Но она из тех мест, где повздошьё Байкала,
где просторы до слёз, где слепнешь в три ока.
Там, где кости моих предков время объяло,
вытекает неистово бензоколонка.

А мой дед щёки в чёрное золото мазал.

А на ощупь оно маслянисто-густое,
пахнет так, как мешок сердоликов, алмазов,
а травую и клевером и сухостоем,

во лугах, во полях, возле гор крикнешь громко,
как в колодце – такая вот бензоколонка!

Как, не знаю, иных, участь их миновала,
были все мои деды за красных, будённых,

А отец на учёбу в вагонах гружёных
уезжал после школы в предгорья Урала.

В телогрейке, в ушанке да в брюках суконных,
а в кармане лишь рубль, да и тот умыкнули.
Вот обнять бы его да воскликнуть: «Папуля!»,
как тебе возратить жизнь? В каких мегатонных,
у каких помолиться святейших икон мне?
И какую мне песню пропеть втихомолку,
как мне мама певала про серого волка?
Да про самого-самого-самого страшного,
да про самого-самого-самого серого!
Как он шёл по Сибири всей стаей, как башнею
вся страна выростала! Спую я про волка,
чтоб меня понимала ты, бензоколонка,
чтоб меня обнимала ты, бензоколонка,
чтоб меня целовала, как матушка, звонко
в мой парной, в мой молочный дитячий затылок!
Я на век, на бессмертье, на жизнь налюбила
нефтепровод, газпровод и токовый провод!
Был повод!
Потому, что любовь. И любви законы.
Потому, что волчок да медведь косолапый.
Потому, что он
самый,
он самый,
он самый,
потому, что о них мои мама и папа,
потому, что смотрю я – глазами ребёнка.

Потому, что я тоже чуть бензоколонка,
потому, что я тоже чуть двигатель вечный,
ток, подстанция, трубы и мозг в оболочке.
Если что – вот вам спичка: взорвусь – покалечу
тех, кто против,
отцовая дочка!

...Вот и верь после этого толпам поклонников,
вот и верь после этого, кто свои в доску!
Почему застрелился поэт Маяковский?
Что же, что же наделали, миленький, родненький,
кто отлил эту пулю трибуну и моднику?
Видно слишком любили, что в сердце убили,
а теперь всё метро изгвоздили под куполом,
ах, Владимир Владимирович, а камни рупором:
там вмурованный крик изо всех сухожилий.
Одиночество – это не листик на ветке,
если не понимают, не станут, не верят,
у империй свои есть законы империй:
а поэты товар – это штучный и редкий.
Но где взять человека, вас двое и Ленин,
чтобы, как Ломоносов воскликнуть: «Фелица!»
Мы все – лошади, волки немного и птицы
и скрепляем мы небо корнями растений.
У меня у самой мало города нынче,

Коромыслова башня растёт из-под грудья.
Не забыть, как единственная в многолюдье,
как держала бокал, оттопырив мизинчик.
И никто – ни актриса с шагреновой кожей,
не затмили огромное, дерзкое, злое
беспреданное солнце её стройных ножек,
её талии тонкой и туфельек в дождик,
как затмение, срыв, как провал тот, что ноет.
Словом, Лилия Брик, говорили, шпионит.
Как шпионить разнеженным, женским, открытым,
дозволяющим всё, телом тёплым и сонным?
И одним вместе с мужем налаженным бытом?
Уж взяла, так взяла, победить победила,
отдалась побеждённая, взятая, вжавшись.
Даже время не смыло,
не смыла могила,
где касался поэт – амальгама пробилась,
где касались иные – лишь ржавь от медяшек.
Я сама иногда ощущаю на пальцах,
если камни поэтовы глажу рукою,
нет, не раны, но отблеск тончайшего глянца.
А представьте постель с ним
и всё там такое!... как хочу я людей полюбить точно также,
чтобы пулю себе в сердце и на диван лечь!
Силуэт его светит мне многоэтажно,
каждый день, каждый миг мой и каждый мой вечер.

О, какие они эти детские плечи,
словно детские плачи, что сердце калечат.
Вижу я лишь рыдания и колыханья,
вижу туфли да юбки. Да что мы все знаем,
если люди, как глыбы, как скалы, громады,
чтоб поддерживать землю: нам это лишь надо!

Богатый, красивый такой, из варяг,
как раз по пути ко арабам и грекам.
Хочу это помнить всем сердцем, взятяг,
хочу это чувствовать! Именно это.
Лежат на земле шкуры лис да волков,
кувшины наполнены брагой веков,
доспехи: секира, ножи, булава
да острые копыя – лети голова!
Всё, как на картине В. М. Васнецова,
скирда, сноп и колос, солома, полова,
а далее – Ладога, Новгород. Пеший
маршрут был проложен сквозь дым и пожары.
Малюсенький Киев пред ним распластался,
и взял этот Киев Олег, званный Вещим.
Гой еси, гой если, отсель Древнерусье,
откуда у нас родословные ветви.
Мы все мироздания – чада, все – дети!
А после Владимир-град встал в лихолетье
столицей всея! В стольный день, мясопустный

не ешь нынче курицу в мятном рассоле,
не ешь нынче зайца в свекольном растворе,
не ешь ты баранину вкупе с капустой.

Рожай, Русь, князь Игоря – Рюрика сына,
на Ольге жени его! Как же красивы
князя на Руси! Боже, как все красивы:
усы, борода, в небе острые шпили.
Но Игоря зверски древляне убили...

А в Искоростень голубь, сойка вернулись,
на лапках огни, как берёзовый улей
пылали! И всем мщеньям – мщенье сверкало:
сожжён город был не людьми, не волками,
а птицами. Вот уж любовь, вот уж страсти!
На мщения Ольга княжна была мастер.

А Киев что? Маленькая деревушка,
она непокорна, сурьмна, непослушна,
дома деревянные, церковок главы.
Мне помнится Киев Печорскою лавой.
А после Владимира тоже столица,
куда же князьям во престолы садиться?
Семьсот пятьдесят вёрст супротив Батыя:
а вот и Москва, бережища крутые,
столица Руси,

а теперь всей России.

Такая любовь. И дороги такие.

К холму припадаю, высокий он, в глине.

Кто там, под землёй? По чьему иду телу?

На чьих я крестцах, позвоночниках, спинах,
на чьих животах, на груди исполинной?

Ветра отпоют и постели постеляют,
неся впереди свой живот, весь в прожилках
из трав, из суглинка да из иван-чая.

Такая любовь. И бескрайность такая!

Что хочется крикнуть им: вот вечно жить бы!

Сижу.

Закурить бы. Но я некурящая.

Сижу. Мне сто грамм бы. Но, нет, я не пьющая.

Внизу подо мною схоронены пращуры.

Красивые самые. Самые лучшие.

Нынче спою тебе работу и безработицу.

Нынче станцую тебе один из своих смертных танцев...

В девяносто девятом пришлось мне уволиться.

Да, конечно, могла бы тогда я остаться.

Я могла бы остаться сурдо-переводчицей.

Но поехала дальше учиться в Москву я.

Вот бывает нельзя. Но, когда очень хочется,

то бросаешь ты всё так, как я подчистую.

Двое маленьких деток теперь под приглядом
тётки, мужа, свекрови.

А маме – учиться

в институт на Тверской. Дождик на Баррикадной.

У меня дождь весь день. Вырвать как мне столицу
и как вырвать тот день из груди беспощадно?

Приходилось работать. Работа – не волк вам
тот, что серый-пресерый, что самый-пресамый.

Кем работала я? Как сбегала с уроков?

Продавщицей, ходячей под снегом рекламой.

Вот была бы Цветаевой, посудомойкой
попросилась бы я в ЦДЛ, столь великой,
столь прекрасной, чудесной в своей паранойе,

столь волшебной и сказочную горемыкой!

Но берут мыть посуду иных. Сопричастных!

...Не могу рук разъять, с плеч убрать я столетья!

Не могу я из горла крик выдрать! Качаться
между пряником и социальной сетью.

Член Союза писателей! Денег не платят!

И союз – не работа, а – взносы по тыще!

Да, работа не волк. Но она меня рыщет,

хоть уборщицей, а хоть рантье. В результате:
мои книги\ стихи мои,
если конкретней
вырывают кусок мой из горла последний!
(За стихи, вообще, ни за что денег нету!
Гонораров тем более. В прошлом всё это.)
Есть, конечно же, гранты один на сто тысяч –
лучше посудомойкой отныне и лично!
Чтоб воскликнуть: поэма, о песнь моя, лебедь,
ты закончена! Можно хоть в петлю, хоть в небо!
Можно хоть мне в груз двести иль в груз сто на двадцать,
но цыганкой по соцсетям – не побираться!
Мыть посуду? Пожалуйста, хоть в ЦДЛ-е.
Бить посуду? Пожалуйста, страстно и жадно!
Я, как волк, так привыкла всегда быть в прицеле,
я же знала на что я иду безвозвратно!

Соборность – собор, сборность – собрание,
соборность есть то, что я внутренне чувствую.
То, как распростёрла к тебе свои длани я,
одними устами кричу, как стоустая!
Я дерево своё охраняю мне данное,
листок его каждый без сна и без усталости.

Соборность – дозорность. Не клюй очи сини мне

и в хрупкие кости гвоздей бить не надобно!
Приглядываю за своею Россиею,
как верующий в храме утром полпятого.
Мой род – землешаец, все деды пахали,
мой род – работага, тудяга, солдатский.
И древо моё не приемлет окраски
иной, кроме правды и в Книге он красной
из меди, сребра, из руды, злата, стали.

Соборность, как связь между миром усопших
и миром живых, я веду перекличку!

Отец – кавалер орденов, если б дожил
до нашего времени, чтобы в шашлычке,
кого бы ругали они с мужиками?

А после бы «Волгу» чинил, как яичко
она бы сияла. А мне:

– Иди к маме! –

он бросил сурово бы. Это – соборность,
когда я сажусь рядом. Мама – большая!

Я – внучка героя.

Я – дочка героя.

Я связь между космосом, между землёю.

Решаю не я. Вся соборность решает.

Не вещь, не еда,

не питьё, а огромность –

сурова, колюча, огниста соборность!

Надмирна. И мирна. Как поле с пшеницей.
Не жалко – внедриться, убиться, разбиться,
как Чеховский сад, что подрублен под корень
и выросший снова ещё непокорней.
Соборность, как Сын, что пред Пасхой распятый,
как родич от горя к нему распростёртый!
Как русский совок, колорадо и вата
упёртый!
Что, суки, стреляют? Послушай, послушай,
душа моя рвёт из разреза халата.
Ты видел большую соборную душу?
Не струшу, не струшу, не выдам собрата!
Соборность, как будто твоя непокорность,
хочу я поднять эту землю, и баста!
Пока не очищу от грязи и сора,
не стану я в небо своё возвращаться.

...руки пахнут мои соляркой, бензином, тире – распятием!

Мы, русские, виноваты за то, что всем хочется греться.
Нашей нефтью сгорающей, двигающей! Непорочным зачатием

пахнувшая, так ядро пахнет, сердце!

Так ещё пахнут краски на иконе Богородицы,
если близко-близко подходишь, каешься, причитаешь.

Мы, русские, виноваты за то, что, как водится,
не вышли лицом. Вышли – ликом смертельно, без края.

А ещё за то, что всем хочется кушать
с маслом, с мёдом, икрой, с паштетом и салом.

Моя родина! Милая, самая лучшая,
да, в тебе этой нефти, подумай, ни конца, ни начала!
Да, в тебе этой чёрной, как схима монаха,
да в тебе этой рыжей, как балаган, как Петрушки рубаха,
бирюзовой, как в луже из-под мотора машины,
нефть моя чёрная, иссини-синяя!

А мой дед находился, как раз за Байкалом.

А мой муж в «Транснефти» зарабатывал деньги.

Я на них – нефте-рублики – книжки тогда выпускала
мои первые оды, поэмы, элегии!

Нефть, нефть русская кровь наша, жгуче раскосая,
лью в бак бензин, чтобы степь под колёсами,
чтобы горы, чтоб реки, моря атлантидовы.

Не таите вы злобы, исчадий, обиды ли...

У нас нефти, как божьего, вечного страстного
много множества! Словно бы солнышка ясного,
Князь-Владимира столько же в водах крестившего,
нынче нефть, словно Днепр, хватит всем и грядущим
всем!

Ни Батый, ни Мамай не страшны нам, растившие
то набеги врагов, то Орду, нас грызущую!

– Мне по нефти до вас! Палки хватит в колёса мне! –

так бы выйти на плёс, прокричать в небо прямо мне!
Мы от Карбышева и до Зои колосьями
прорастаем былинными, честными, пряными!
Нефть превыше всего. Нефть прекрасней черёмухи.
Маргарин, пластилин, пластик, в парке скамеечка...
Если сердце изранено,
то лечим промахи:
надо нефть приложить к вещи ране на темечко!

Я же не просто вынашивала, я рисовала картинами,
ладаном, миром, воззваниями матушкиных молитв,
знаньями, солнцами, лунами марсовыми, перинными
всех предстолетий, каждое радостный монолит.

Я вышивала иконою тексты такие наивные,
молитвословом, законом ли о Благодати людской,
ткань мастерила из шёлка я. Бязи да ситцы былинные,
и получился – родился ты, сын мой, хороший такой.

Если бы так всю галактику нежить, лелеять, вынашивать
с красной строки бы вынянчивать, вить бы глазурную
нить,

ибо причастна ко времени я атлантидному нашему,
ибо причастна...да что уж там, люди мои, говорить?
Ибо случилось, ношу в себе заповеди, как все матери,

помните, горе Одесское? Помните фосфорный град?

Если б спасти...вырвать сжатые смерти тиски, выдрать клятвами...

если бы вместо солдатака...чтобы он жил бы! И нате вам ждатель, принимать, верить, плакать мне, биться о дождь, снегопад.

Вот я иду: заметелена ветрами, я вся зарёвана листьями красными, алыми, желтыми в розовый цвет.

Этой рябиной оранжевой, этими чудными клёнами...

Выносить мир бы мне! Выродить! Ночью закутывать в плед.

Также расписывать радугой, искрами, небом, иконами, словом благим Златоустовым, Ветхим заветом, мольбой в церкви старушек. О, помню я лица, платочки их скромные,

спины, ключицы. Мир помню я весь! Весь до корня! Любой!

Право, но ты был, мой Господи, ты был всегда в сердце, в семечке,

в ядрышках этого семечки, в самом далёком углу, был до распада. Был всем ты мне – этим пространством и временем

был, потому распласталась я, вот потому на полу...

Вот потому и взываю я, руки дрожат, сердце грохает
в Древней Руси и Аравии. Вот бы мне также лежать
семечком этим! Земля бы вся спину мне грела, огромная!
Вырасту деревом. Помню я,
как мне рожать Божьих чад!

Мой олений сын, мои подруги-берёзы, мои невероятные
ёлки,
так бы выходить, не озираясь, не опускать глаза, лишь ви-
деть прошлое,
лишь верить в прошлое, что рисует многое в нежнейшем
шёлке,
поворотись! И за нами – будущее, за рекой Смородиной
– за Серёжею.

Если бы не было будущего, что по-мордовски: Ала-
тырь-камень,
этих будущих строк Мандельштамовских, придуманных в
прошлом,
этих будущих книг, как у Толстого «Каренина Анна»
Нет, не прошлое в будущем! Наоборот. О, возможно ль
мой олений сын, мои подруги-берёзы в белом цвете за-
стыли,

так вгнездилось в меня распоследнее наше отечество!
Называй ты как хочешь поля, эти речки ковыльи,
называй их «прародина» та, что, вонзившись, не лечится.

Я хочу помириться, хочу дать себя им – прощались чтоб,
вы такие смешные, особенно тот, кто измылился.
Занесённая в список я чёрный, но словно бюстгальтеры,
не подходят размером: из всех декольте пру, из вырезов.

Из меня можно прошлое вылепить в будущем трафике,
в невозможно пронзающем! Как сказал вещий учёный
то, что люди без памяти – люди планшетов, смартфонов,
то, что с памятью люди – заносят в альбом фотографии.

Загадай мне четыре загадки, чтоб чуда достигнуть мне!
Это чудо Всея Руси, чудо осенних растений.

Нежность рыжая. Солнце высокое. И скоморошество си-
нее.

И рыдающая всех лесов невозможность мгновений.

Кто не гений в пятнадцать? Все – гении! В тридцать про-
ходит...

В тридцать семь понимаешь: людей, птичьи их колыбели.
И затем всё, как водится – снег, колея, непогоды,
и попросишь морошки, что следует после дуэли...

У меня есть собака, а точнее есть пёс,
я его целовала в чёрный плюшевый нос.

Убегал, непослушный, срывался с цепи,

Лаял так: прямо душу

выворачивал!

– Спи!

Чёрный, гневный, лохматый, ел он всё – даже хлеб
с майонезом. Дай лапу!

Он давал сразу две!

...вот лежу я в сугробе. В белой шубе лежу.

Вою: «Боженька, дай мне пережить эту жуть...»

Ну, достали, достали...не могу...столько лет...

Из меня вырастали – из больной, как скелет,

эти травы из стали, так Голгофа растёт,

из меня вырастали солнце и неба свод.

Я ползла по сугробу: пальцы сжали снег, лёд.

(Я не знала в те годы, что спасенье придёт.)

И он лаял, так лаял! Словно пел коростель,

песня-крик, песня-омут, песня-сказочный Лель.

И слышалось мне поутру, поутру,

коль бессильны врачи, за тебя я умру.

Но ему я сказала: «Бежим!» Мы вдвоём

побежали, проваливаясь в снег густой.
И осыпалось солнышко за окоём.
Залезай, пёс, в машину, поедем домой.

(Есть такое местечко, кто знает маршрут,
там, где Ольгинский пост в Арзамас скользкий путь,
есть деревня Елховка, правее вот тут,
там Целебная Горка, ложись ей на грудь!
И все хвори исчезнут, растают, пройдут.)
Там ветра из Голгофы, разбойный сквозняк.
После взял пёс, состарился, что же ты так?

Погляди, я не старюсь – косметика, крем,
не курю и не пью и немного я ем.
И ни как ты – картоху, хлеб, сосиску вразброс!
Ты мой пес. Мой собака. Мой плюшевый нос...

Расскажу, как обещала, виденное воочию,
здесь трава-мурава, берега кисейные, реки молочные,
как бы ни диета – брала бы себе молока,
натирала лицо бы я, шею им, грудь и бока,

Маяковский сказал, что красивый, ему двадцать два,
а мне около ста, я иду, я красивая тоже,
как Владимир Владимирович, как трава-мурава

как река, что кисель, молоко да творожник.

Раскудахтались: Россия такая, Россия сякая, Россия есть
дно...

А хотя бы и так – я люблю её дно небоскрёбное!
Дно небесное, синее, дно что льняно, что рядно.
Перекрёсток с распятием словно единоутробные.

Да, у нас и купель-то одна, и вода одна: прорубь холодная!

Гроб Господень, один Сталинград и неотданный Ржев,
и старухи на лавке сидят, мужиков вспоминая,

как у той Пелагеи убит в бой последний уже,
как у той Октябрины убит до победного мая.

А хлеба-то, хлеба из муки, из яиц, из сметан.
Вы таких не едали – ни в Спаре, в Пятёрке, в Магните!
Не деревня у нас. У нас город и Кремль – великан
красно-красный и красно украшен, свидетель событий.

Здесь никто не спивается. Некогда пить, кушай лишь!
В Воскресенске – воскресни!
В Варнавине – вора не встретить!
А на улице Громкой такая неслышная тишь.
На Свободе – Дом занятости, на Зиме нынче –

лето!

Совпадаю я с веком, как с мужем: еда-секс-постель, говорят, что век трудный, что нервный, неверный, угрюмый.

Да, конечно, такой. Но он мой! Он безудержно юный, как утроба, как жизнь, как вода, смерть, купель!

Ты уехал, чего же ты пишешь сюда, Габриель?

Ты уехал, зачем просишь премии – дайте?

О, какая здесь цветь!

О, какие ваниль, карамель!

Ничего я не дам! Ибо – дно!

Дно проткнёшь, и там – золото!

Хочешь, распни меня вместо всех тех, кто был распят – вор ли, Бог, проститутка.

Дождь по щекам. Дождь – он из антител против ковида. На грани рассудка.

Сделать крещённой, когда на кресте разве получится? Лучше без лести.

Больно ни эти мне сделали – те, больно ни там, ждали где, в другом месте.

Шепчет разбойник:

– Я верю тебе.

Шепчет, как будто кричит оглашено.
Каюсь, я каюсь, я – немощь теперь,
грешен я, слаб, слеп и глух во вселенных.
Слаб, хоть есть мускулы, череп и мгла,
слеп, хоть я вижу на двести процентов,
глух, словно муха, улитка, пчела,
самый я немощный,
самый я серый.

Гришка твой. Грешный твой. Небо рябое.
Да, да, тот самый из шерсти и боли!
...Песня про яблоко катится, катится,
песню пою, значит, всё же живая?
Дай мне очнуться – твоей службе, пятнице.
Эти позвали.
А те не позвали.

Звон,
звон,
звон,
колокольный мой звон,
о, я тоже художник: встраиваю полотна
в эту систему «Россия-вагон-
поезд-большой чемодан самолётный».
По тебе этот звон.
Иль по мне этот звон?
Буду каяться в том, что я сделала,
хоть не сделала каяться буду вдогон

тем, кто чёрен. Что каяться белым мне?

Причаститься! Предательств уже не боюсь.

Причащённая, чистая, словно помытая,
там, где были ранения всех недодружб,
там, где рытвины, всполохи, как инквизитором,
что повёл на костёр. Возжигались огни.

До сих пор пахну гарью, обугленным мясом.

Мне все щёки Иудушка твой облизнул
в сне анфасном.

Устаю своих Каинов-братьев считать.

Этот камень схватил.

Этот в пустошь подался.

Этот клялся на весь прорифмованный чат.

Этот – Карлсон.

Солнце режет мне зренья, в полоски сечёт.

Щурюсь! Мне, причащённой, всё горькое – сладость!

Всё колючее – мягким мне кажется.

Ядом

раньше даже вода была, солоним – мёд.

А теперь всё – дорога, что ходом, что пеше,
и овалом мне, кругом – мой угол медвежий.

Будь же также причастен, обласкан, занежен,
я из личных своих словно бомбоубежищ
выхожу под обстрелы, под небо, под свод!

Это как после казни, когда не казнили:
передумали! Прав не лишили – промилле
было ноль и шестнадцать, спасибо, латынь!

По мосту я иду, мост, как шкаф со скелетом.
Нынче всех я люблю, даже слабых поэтов,
исчезающих этих святынь.

С ними пью брудершафт, им даю своё горло.
Им в ладони я – сердце. Да что там в ладонь,
им – под ноги, под тапки, под солнце, под ведро
проведён

здесь по кругу по первому и по второму
ток вместо невымерших строчек и строф.

Осветлённая, выровненная, солому
ни к чему мне стелить! Путь обратный с Голгоф,
как под горку! Как с виселиц, коли верёвка
обломилась. С кусочком на шее – иду!

С синяком во всю душу! Как божья коровка.
Мотылёк. Стрекоза. Я уже не плутовка,
не воровка, не падальщица, не дешёвка.

И сама я свою добываю руду.
Если надо сама поцелую Иуду,
поднесу своё тело ему я ко рту.

О, как худо мне было. Но сплыло. Уплыло.

Словно воду я пью, где в песке, в лоне ила
полюхала звезда умирающим светом,
этим обмороком, этой болью и смертью.
Вот и всё. Её нету.

Это даже не девяностые лихие,
а семидесятые колдовские,
мне на вид лет пять-шесть,
не тащи меня в лес, серый волк, волчья шерсть.
У меня столько дел: спать, пить, есть!

У меня столько дел – ромашки, букашки,
я «секретик» делаю из стекляшки,
закапываю в яму под жёлтым мхом,
чего только нет там, разуй глаза, -
лист, пёрышко, пух, мёртвая стрекоза.
Даже Дарвин позавидовал бы, но тайком.

Вот папа, вот мама, мой пёс – носик плюшевый.
Актриса, озвучившая Каркушу и
ну, скольких, скольких она озвучивала
мишек, плюшек, есть даже пират.

Семидесятые годы – горн, флаг, как факт!

Годы целебные, годы волшебные, ни «тик-ток», ни «тик-
так».

Хлеб, конфета, пломбир – постоянна цена,
словно вид у окна, под окном, из окна,
ни братков, ни расстрелов и ни пахана,
и дорога ясна, и видна, и полна,
и пшеничные полосы, взгляды до дна.

Ибо прямиком смотрят в семидесятые,
жизнь вся светлая, белая, не полосатая,
жизнь – она не аптечный тест,
волк не утащит ни в поле, ни в лес.

Ты разве не знаешь конец этой сказки?

Бычок качается.

Лапа отрывается. Но не брошу: дальше тащу!

И как вдруг по таким нам – нежным, – что кости, что мясо,
верящим напропалую да по хребту, по хрящу?

Слова-то какие странные – перестройка, Горбачёв, Ель-
цин!

Друг Буша.

Ножки Буша.

Ногти Буша.

Тельце.

Я вообще-то хочу про Каркушу,
более вовсе не стану я слушать.

И мячик, что скачет вдруг к речке, ко рву.

Я понимаю – не будет иначе. Тогда не ревела. Сегодня реву.

На Покрова Богородица кутала нас в покрывало,
накрывала,
убирала «сытый голодного не поймёт»,
«глухой – слышащего»,
«слепой – зрячего». Всех понимала.
Вот пью я воду пресную – а в гортани сладость-мёд.

Изменение вкуса, цвета, запаха, как истории,
нет, нет, не ковидище, а иные перемещения.
Не выметай этот сор из избы: сор мы строили!
Из него рост стихов по-ахматовски,
дщерь моя!

Услыхала, Исполнена Слуха, накрыла, припрятала.
– Ой, тепло ль тебе, девица, право, тепло ль тебе, красная?
Воскресающих птиц – чаек, соек, овсянок да ласточек,
гречневик надевает над всеми, как будто поярковый.

Васильками украшен он, лентами, перьями поверху,
а ещё Богородица плащ сверху рядит малиновый.
И тепло-то мне, девице,
и хорошо-то мне, милые!

Словно шубой замотана, словно накрыта я дохами!

А тебе, о, София, тебе, о, благая, тебе-то как?
Стали раны багряные свет отражать в небе сотканы?
Вот и понял голодного сытый, молчащий внял глоткою,
замерзающий – жаркостью,

тонуций тех,
кто был лодкою!

И все фразы, которые тихие, стали вдруг важными,
и болящее сердце моё стало, словно спортивное.
Ибо самое высшее – сутью, что малоэтажное,
и дома осыпаются мне под ветрами квартирами.

Накрывает Лилейная, Чистая, плачу от радости,
накрывает телесно, до темечка:
– Дева, возрадуйся!

И качает меня, как дитяти, наивную в младости.
А уста сами шепчут, уста мои шепчут:
«Пожалуйста!»

Настасья, Настасья, настала пора,
по батюшку-Киеву ты мне – сестра,
сестра ты по матушке-граду Москве,

по Нижнему Новгороду – на – он твой!
Красивый такой.
Величавый такой.
Град-Горний – так Бильченко Женя зовёт.
Она мне – сестра! К нам вставай в хоровод!

Ещё есть сестра – помирились вчера!
Она мне сказала: «Иди, вот я! Здесь!»
Она мне желала не зла, а добра,
и сердце рвала –
я глухая была.
Она мне тянула Голгофский свой крест.

О, руки её! Ты видала в упор?
Вот так обнимать могут только сестёр.
Вот так целовать могут лишь васильки,
на мне платье синее – цветом под стать.
Ты знаешь, как может сестра целовать?
Ты знаешь, как может сестра обнимать?
Как будто крестить в две руки!

Вот этот момент: Хиросима в груди.
Сказала сестра: «Я вот – здесь: ты иди!»
Да
я бы ступила с обрыва, с настил,
как в пропасть, прости, ох, прости!

Как мы неуклюжи, что стадо слоних,
коленки дрожат, да, мы с ней – из трусих.
На – поле пшеницы моё, чтоб растить,
на – зёрна,
на – птиц,
на – бери васильки!

Конечно, нам, женщинам, всем нелегко
даётся прощение, как сделать шаг?
Вот если с мужчиной поссорились, то
с ним можно в постель, и, мирясь, переспать.
А если страна со странюю, то как?
У вас разве много Россий-Украин?
О, цветень,
о, лебедь,
пшеничный мой злак,
о, как это просто: обнять, дай обнять.
Объятия – выход один.
И вот вы коснулись ладошки, руки,
а рядом, вокруг васильки.
Васильки!

От мозаики Киевской Софии, от её суровых секретов,
от лазоревого, лазурного, рыже-солнечного исхода.
От «Города Солнца», от его идеального света

мощь, мудрость, любовь – всенародна.

Воссиянная! Соединяющая! С трепетом трепет.
И неважно, как шли, сколько шли, где плутали.
Я-то думала: пульс. Оказалось, в запястье – небо,
и неважно, какие фантомные были печали!
И какие всемирные боли...Лазурь да и только!
(Ты у мишки боли, бы у зайца боли, но не надо
у куклѐнки моей, у сестрѐнки моей, у дитяти...)
Дай подую на рану, на все пятьдесят ран, где горько.

Да на все пятьдесят их оттенков твоих скоморошских,
если к ним прикасаться, они в золочѐном сияньи!
Как на столб электрический лезть,
ты проверила кошки?
Ты проверила лезвия,
также остры, также пряны?

Ты же сильная, знаю. О, сколько в молчании крика!
Разрывал этот крик, наш всеобщий, мембраны вселенной.
И когда умирал крик твой-мой – восходил Светоликий,
я таких не слыхала убитых, но не убиенных.

У Распятия свойство – о, сколько ни плачь – Весть Благая.
Я же помню, Володя толкнул, а я – враз пред иконой
оказалась в Ея колыбели,

на донышке, словно слагая
мозаичный рисунок, трясясь в лихорадке, со стоном.

А ещё – синий плащ, пурпур, тихий малиновый отсвет
было всё в этом крике со встряски времён, с изначалья.
В две груди разметался – единый! – в две оси.
И мотает меня до сих пор у оси ежечасно.

А новья-то, новья-то! Откуда его натаскало?
У меня было три сестры Вера, Любовь и Надежда.
Я – сестрица твоя.
Ваша – я. Я для всех жарко-ало.
И всея я – сестра. И всему я – сестра, как и прежде.

Говоришь, где-то пятая есть. Вот бы встретить, хоть мель-
ком

увидать, ненаглядную, вот бы нам всем помолиться!
Говоришь: жемчуга.
Это правда! И в сердце – прицельно.
Из твоих рук я пью. Из твоих рук святую водицу.

Хорошо как рождаться!
Младенцы мы. Обе – младенцы.
Абрикосовы пяточки.
Розовые кулачочки.
И кладут нас с тобою обеих да на полотенце

и подносят ко батюшке, в лён завернув, во сорочки...

Выйдешь по склону к Волге вниз, по откосу
да вдруг как всплачешь песню свою гортанно.
Созрела калина-рябина: опять же осень
огромная, синяя вся, а в лесу багряна.
Вот так бывает участие, сосчастье, причастье.
Как будто бы больно другим, а во мне растёт рана.
Тебе не хватает синего, на, мой красный,
тебе не хватает инея, на – мой рваный!

Река у меня не просто зовётся Волгой,
река у меня не просто рвёт рыбы краги,
не знаю, я ли рекою сейчас промокла,
она ли меня разрывает на мелкие капли.

И я выпадаю в неё, выпадаю, что дождик,
кормить её червяков и флейтовых синих мушек,
люблю я покусывающих лягушек
не в смысле поесть их куриных ножек.

А в смысле зайди на страницу и лайкнуть синим.
И прочитав: «не хочу ни медалей, ни грамот»,
меня вот также когда-то бесили
дипломы их красные в форме ягод.

И внешне спокойная, хоть всё огнём горело,
и внешне пристрастная, знала, как всё нелепо.
Моя задача: Есенина вынуть с петли,
моя задача: прикрыть Маяковского телом.

Моя задача: Марину Цветаеву в белой
пуховой кофтенке собой заслонить стоустно.
Но что мне делать вот с этим окаменелым
да сплошь перекупленным, что все зовут искусством?
О, речка-речка, простор мой, пространство-время,
и птица чайка кричит, поёт ли со мною сольно.
Толкнули тебя с эскалатора – а мне больно.
Коль неба не хватит, бери мой закат внутривенно.

Это было когда-то давно, ещё перед Пасхой,
хватаясь за спины, толкаясь локтями: Пустите, пустите!
Когда умирал на кресте Иисус, что рождён в овчьих яслях,
тогда мы нуждались с тобою, сестра, не в его ли защите?

Да пропустите к нему, он там был до последнего вздоха,
и когда Он дышать перестал, завопила поляна
своим горицветом. У нас с тобой общего много:
и одна на двоих там, что слева, кровавая рана.

Отрекаться нам как? Пропустите нас, добрые люди!
А поляны истошно исходят цветочным нектаром.
Там не пульс на запястье, а словно ударило в бубен.
И совпали – твоё и моё – два запястья ударом.

Не пускали. Одежда впивалась в шершавые гвозди,
что торчали из балок. А поле – цветочные корчи.
Сестра, так бывает: друг другу с тобой передозы,
даже имя моё ни к чему вспоминать ближе к ночи...

А по козьей тропинке пойдя на вершину, пробейся.
Словно блогер Уфимский – Рустам тот, который Набиев,
ему покорился Эльбрус по пути к Эдельвейсу.
Он шёл на руках, продвигался, как мы не ходили!

О, как заболели предплечья его – да у нас вдруг с тобою,
о, как мы носили икону одну к аналою.
В нас бились ветра, в нас толкались – спиной, головою,
но двери закрыты! На ключ, на замки, паранойи.

А после снимали Христа со креста. Как снимали!
О, как мы рыдали тогда, невозможно рыдали!
Похожие слёзы у нас. О, слеза, что немая,
слепая слеза, и глухая слеза, и больная.

Ужели нам мало? И снова нам мало. О, пей молоко ты.

Особенно на ночь. Особенно сладко-холодным.
Воскрес наш Господь. О, как он воскресал, капли пота
на бледном челе. Как он шёл, как он шёл к нам по водам!

По рыжим шёл водам, по синим шёл, по скоморошьим!
Мальчишьё лицо. На щеках золотые веснушки!

И мягкие божьи ладони...

точнее ладошки,

какой Он небесный. И пульс на запястье кукушки!

Несёт Он хлеба из овса, из пшеницы проросшей,
несёт нам луга, где цветы, где пушинки и перья.

Когда он воскреснул, он помнил о всём, но хорошем,
забыв про плохое. Но не подведи: Он нам верит!

Родина – молоко моё белое, мёд мой шоколадный
как ты хороша в картинах у Волги.

Ты прохладна, светла, сладка, беспощадна,
тебя невозможно понять – лишь исторгнуть!

Тебя невозможно измерить по-Тютчевски, право,
лишь только прильнуть к твоим травам, лежать в этих тра-
вах.

Измерить могилами предков, могилы глубоки,
да пальцы порезать до крови в ковыльной осоке.

Люблю я машину помыть в озерце, проезжая
по области с края,
по области Нижегородской,
мечтая о том, что никто не собьётся, не спьётся,
никто не убьётся, летая на всех скоростях автострадцев.
помыла машину, пора отправляться нам, «Дастер»!

Три птицы его – рак да щука да лебедь – все сразу,
чинили коробку ему скоростей –
возноситься,
ему в «Автосервисе» холили тело и разум,
ему богородичьи нежные клеили лица.

Чтоб сразу из крайности в новую крайность – смиренья!
Где шаг от любви да в любовь безнадёжно первична,
где шаг от любви в нечто синее, бабье, осеннее,
оно словно озеро в дальнем лесу чечевично.

Кружусь вдоль оси своей, эка меня здесь мотает.
Исход – за флажки, а там, мамочки, синь да и только!
Скажи только, родина, да хоть в болоте утопнуть!
Шепни только, родина, я же твой шаг – его долька.

Да, я этот шаг, что размером с подростка-берёзу!
Да, я этот шаг, что из тёмного – прян, красен, розов.

Да, я этот шаг, как глагольная рифма с наречьем,
когда в пост-осеннем, когда снова куртку из шкафа
свою достаю, а за ней шарф, плед, варежки, шапка...
Когда в Верещагинской горке
сердечко
к сердечку!

День отца был вчера, мой отец, а сегодня ты снился,
как всегда в синем (это – Россия), а в светлом, знать, небо
или облако Сельмы Лагерлеф про Нильса –
мой любимый мультфильм, он про всё, он про нас и про
лето.

Как ты плёл мне узоры, как в ленты скреплял мои косы,
у нас общий любимый поэт на двоих – Маяковский.

Помню, как написал ты один из стихов, из двестишестидесяти,
он наивный такой. Я такие зову графоманством,
я такие зову граф-обманством, отбросив всё лишнее,
остаётся лишь граф, князь, царевич. Давай без жеманства

—
подкаблучник, влюблённый в мою самолучшую маму:
у неё были кудри
и белые нежные груди,
помню, как выходила она-выплывала из спальни

да под песню, тогда было модно про рыжего Руду.

Не могу без тебя я, отец!

Не могу я, что ж вдаль так
расплескался? Зачем заболел этим раком?

...Вот лежу я – двухмесячной – там, на подушке крах-
мальной,

словно яблочный торт, кулачки свои сжала, однако.

У тебя было время – на праздник меня брать с собою,
в тёплой шапке, с шарами я шла и гордилась, гордилась!
Что мой папа – директор завода, что там за забором
справедливость.

И Божия милость!

Лишь милость!

Что сейчас? Ах, давай не про это. Зачем тебе это?

Твой завод был расхищен. Растащен. Там сделаны склады.

Или, может быть, клады? А в кладах добро и монеты.

Ибо – граф, ибо – князь, и царевич. (Смотри, как я –
складно!)

У меня был хороший отец. Супер, мега, имел три медали.

А четвёртым был орден.

Но сёстры на хлеб променяли –

это было давно в девяностые и в злые годы.

Мой отец – навсегда!

Мой отец – на века!

Он – на вечность!

Ну, подумаешь, годы четырнадцато-нулевые...

Мне прижаться щекой бы к твоей, где надежда и млеч-
ность,

вот хотя бы на миг!

Даже умершие мне живые.

Мне живые твои туеса, да в плетеньях корзины,

а в них ягоды, ягоды с мая и до сентября, и

что-то очень весёлое, очень хорошее сильно.

Лишь от горечи руки мои в кулаки ужимались.

Мятежный Аввакум устал нас с тобой приглашать
в поющий Чернобыль в его огневидную суть.

Какая здесь боль!

Птиче, Мати, Пресветлая мать.

Молитва ребёнка! О, дай на ладони подуть.

Молитва старухи! О, дай ей премного всего.

Молитва девицы, как будто день нынче Петров.

– Избави от ссор, исцели тело, душу, страну!

Одна у меня ты! Тебя исцели мне одну!

Не надо вот так, что в одном моём карем глазу
икона святая.

В другом не понятно мне, что.

Хочу, чтоб в зрачках только небо, любовь и лазурь,
хочу, чтобы в сердце одна всепрощения суть,
хочу лечь перстами к ногам Аввакума листом.

Ладони, ладони, ладони к нему простереть,
как мало я знаю про немощь во всю мощь и твердь,
как мало я знаю про лёгкость, что не унести,
больнее без боли,
кровавей без крови в горсти.

Когда на кресте крещены, а на небе в сто неб.
Мы мне одиноче, чем множество, без хлеба – хлеб.
Вода без воды, а вино без вина – хмельно мне,
медовая родина –
с плеч, лисий хвост, волчий мех.

Порезан на вены, на ленты, на капли с берёз,
размотан на ветер, что бьётся виском или без,
раскрошен на столько, что нету целее его,

и собран на столько, что в крохи раскрошенный весь.

Прости, если сможешь, и вьётся над пламенем дым,
и крестит двуперстьем всех тех кто не с ним и кто с ним.

Ужель побредём мы, ужели, ужели брести?
Хватаю я воздух, сжимаю до хруста в горсти...

У моей России бабушкины руки,
у моей России папины глаза,
матушкины песни, вихри, блики, вьюги.
В нас, внутри Россия: слезка, железа
и седьмое чувство. Все, кто Русь покинул,
те давно не имут, словно мёртвый стыд мой,
боль... Любить не так
надо, сердце плавить, плавить, плавить, плавить
в топке и в горниле, в доменных печах.
Самое смешное то, что сторожу я
взятую Бастилию, краденый рубеж,
через лаз всё вынуто, через кремль запродано,
лишь одно не выдрано с корнем в нас допреж:
речь! Глагол смородинный, Русь моя, прародина!
И не в тёмных матрицах, не на Римских улочках
мне лежать под пулями желтыми – в янтаре!
Чтобы крик под скулами сахарно-лукулловый,
на своей, на кровной я на земле, как встарь.
Вот вам – и аптека.
Вот вам – и фонарь...
А ещё бы в горло мне водки. Лёд. И слово
то, моё рабочее, в рифму с кровью в снег!

Эко как попёрло для меня медово,
захребетно, словно бы князь идёт Олег.
И стрела навылет. Вот, гляди, сквозь раны
Русь моя! Бастилия. Васнецов, Куприн
и Рубцов, который садиком багряным,
и ещё мёд Одина. Он такой один.
Отпусти пожить ещё! Побороться! Выстоять.
В ледяном побоище да в Бородино.
И зачем ты в голову мне контрольным выстрелом
целишься? Ах, сука ты, блин, предатель, дно.
Как же будет родина без меня родимая?
Слово моё ратное крепостью растёт!
Словно бы купинушка, что неопалимая,
куст терновый, ягода, занебесный ход.

Время – камушек с камушком, магмы и кобальта,
время Экклезиаста: сбри, коль разбрасывал!
Из-под всех саркофагов кричать нам Чернобыльских,
из-под всех печенегов вставать целой Азией!
Время – флага, синиц, да из каждой головушки,
из орла, что двуглав, озирать поле белое!
Время – нате, берите российской вы кровушки,
это нефть наша чёрная, нефть наша спелая!

Делай краски из нефти, рисуя Богородицу!

И мальчишку, родиться вот-вот он – юродивый,
и восплачет псалмом он Давидовым тоненько,
воспоёт он рекою да полем с пшеницею:

– Где страна? Где Россия?

– Да вот она, родненький!

Богородица скрыла её плащаницею!

– Где вода, что святая? О, где же водица-то?

– Вот она! В её горсточке, в беленьких пальчиках!

Так ныряй же в неё, в нашу нефть солнце-лицую!

Наша нефть – это наша трава мать-и-мачеха!

Время камни разбрасывать, но не сторонник я
ни реформ, ни подвижек, сторонник я книжек.

И осенней, что в Болдино, силлабо-тоники,

и сторонник адажио – это мне ближе!

Но вот камни!

Как быть?

Каждый звук мне – булыжник!

Каждый шёпот мой – кремень и шелест наскальный,
дождь мне щёки шершаво и горестно лижет,

о, как много камней – не собрать – разбросала!

Раскидала. Уродливо так, по-кабацки!

И сама под камнями – в могиле я братской

и безмернейше сестринской! Камни, о, камни!

Что по Волге, Туре, по Оке и по Каме!

Я-то думала: что быть в сраженье по-русски так,
оказалась сама, что янтарная бусинка.

Собери меня, музыка!

Обними меня, русая!

А зимою ты белая, осенью – в крошево,
я взываю к тебе, как трава та, что скошена!

Как сожжённая, Господи, в цивилизации,
что в Чернобыльской топтаная радиации,
как объевшаяся, словно до галлюцинации!

Доче, мати, душа моя, птиче! И катится,
нет, не яблочко – камень! И давит и давит
этот камень на сердце. я бросить –
не вправе!

Его звали «Вася-шкаф, шестьдесят километров»,
я сама нынче мчалась против снега и ветра,
торопилась, спешила, быстрее, стремглав,
предо мною в «Газели», как тот Вася-шкаф
60 километров, а во мне – больше ста,
моего «Птицу-Дастера» греет верста.

А вокруг, а вокруг Богородичный лес,
Иисусово дерево – дуб, что солдат,
Больше-болдинский свет в листьях наперерез.

...А дорога всегда – нервы, музыка, мат,
на билбордах Прилепин Захар, здравствуй, брат!
Мой фейсбучный товарищ, я рада! Ты рад?

Но «Газель» себе тащится, в ней Вася-шкаф:
древесина, песок, уголь и комбикорм,
и – на встречу нельзя,
и налево – там штраф,
святогорную песню поёт семафор.

Кто не любит, чтоб быстро, в обгон? Я люблю...
Я прокладываю, сосчитаю, колею,
убыстряюсь, лечу, а точнее – пою,
выручай, моя бусинка, слева, на юг,
дальше, дальше дорога – шоссе моё, пава,
моя родненькая, соколиное небо! –
я хотела б, хотела в зрачки тебя вправить,
60 километров любви – где-то справа,
60 километров огней, щебня, камня,

60 километров – до сердца руками,
ты – лазоревая, корневая, вкус хлеба,
а что я для тебя?

Мои скорости птичьи,
мои скорости зверьи,
гречишно-пшеничьи.

Васильковые – еду вдоль поля грачиного,
да осоковые – что вдоль луга былинного,
всё в слезах ветровое стекло – в рыжем дождике,
это нежность моя, теплота скоморошья...

А по радио нынче вещают политики:
апельсины, торговля, базары восточные.

Кто отмолит меня?

Вася-шкаф!

Едет тихо он.

Он отмолит дорогой, щёбёнкой, обочиной
и таким тонким-тонким, безгрешным, что пёрышко,
это лучшая высь. Это лучшее доньшко!

Возвращаюсь обратно я из полиграфа
с полной сумкою книг, со своим альманахом.
Преисполненный радостью звук колокольчика,
что маячит мне призрачно Васею-шкафом...

Кьюар-код мой квадратный – квадрат мой Малевича,
молодильный, что яблочко, спелый мой, девичий.
С ним в любой магазин, в клуб, на сцену, на паперть хоть,
мой летящий, расстеленный белою скатертью.
Он мне – осень, хоть в кофту закутаю, в плед его,

он мне – пропуск, билет, он Гагарин – «Поехали!»
Все по-разному, каждый по-своему – люди же
соотносят себя в нашем времени выдюжить,
кьюар-код

Маяковским до крика мой вывернут,
белым мехом и чёрным подёрнут, мех – беличий,
Шакьямуни учением, лугнасадом под Ивенкой
от истока Торжка. Хорошо быть Малевичем:
он давно кьюар-код свой придумал, и – нате вам!
Он столетье назад туда вставил пернатые,
обнажённые крылья и косточки хрупкие,
кьюар-код
кьюар-код, как Мадонна с малюткою!

И грядёт, и идёт Она, цветъ сжав ладошкою,
о, как пахнет водой живой и мёдом клеверным,
о, как пахнет брусникой, травой свежескошенной!
О, как никнет гречиха под тяжестью медленной.

Мы когда-то бродили в квадрате Малевича,
мы когда-то живали, мы были, мы певчие!
Мы кричали не выданным горлом, хрипевшие,
и звезда была Волчья, но не озверевшая!
Где же, где же, скажи мне, ну где же мы, где же мы?
Во русалочьих тропах, лесах ли, валежниках?

Ну, иди ко мне, старшая девица красная,
ну, иди ко мне, младшая девица Настенька!
А я – средняя ваша сестра кьюаркодова,

я родная, я здешняя, яблочно-сводная!

Не погибнем теперь, ни за что не погибнем мы!
Сквозь пространство нежнейшая жрица Церера,
что несёт небо алое, белые липы
из неоновой, звёздной космической сферы!

Маленький мой, миленький, отмолю
я у всех невзгод тебя, островов Марианских,
под подушку недаром в колыбельку твою
я иконку клала по-христиански!
По-Юлиански все календари!
По-старославянски все древние тексты.
Ещё когда ты был у меня внутри
и слушал ритмы моего сердца.
А теперь! Это же надо ты вымахал как!
Школа, институт и служба, и армия!
А нынче в мире пиры вытанцовывает сквозняк
на все свои, сколько есть, полушария.
Девушка – белые волосы изо льна
та, что вчера тебя бросила.

Как же она могла? Как же могла она?

Так поступить, стоеросовая?

Ты, словно Ивашка у ног её льды,
ровно укладывал кубик к кубику!

И ты пылинки сдувал, целовал следы,
ты извергал эти маковки бублику!

Это из сцены: что нас не убьёт,
то искорёжит до деформации.

Другая придёт – сахар, нектар, мёд,
жаркий песчаник кварцевый!

Баррель поднимем. Вырастим Арараты в кистях.

Алые паруса сошьём из бархатистого ситца!

Мамы они такие – не унывают, не льстят
и не стареют, пока их белокожи лица.

Но если что-то, то враз
волосы в белой позёмке...

Шрамы вся жизнь, ты пойми, – не экстаз!

Эрос, Сизиф и головоломки...

Мир – на крови. Пенье, звон гильотин!

Скрипку нещадный Нерон прижимает к предплечью.

Женщин безумство, продажность, наркотики, сплин
душу калечат.

Если пожарищ несусь я тебе города, имена,
всех от века начального войн в генетических кодах!

Ничего я исправить, хоть надо бы, но не вольна,
боль за державу, страдания, дерево рода!

Смелый мой мальчик, тебе я вручаю сей меч,
луки да стрелы, что прадед сковал богатырский!
Как мне хотелось тебя от беды уберечь.
С первой бедой
ты – сразился!

Не оглядывайся. Иди. Иди. На коленях.
Как очарованный странник двадцать первого века.
Позади километр. Впереди
восемьсот, тем не менее
на коленях, как будто юродивый, старец, калека.
Позволяй себе мучиться. Спать, где попало, плащ бросив
на медвяные травы, лежать в этих травах, есть мало.
Ты оставь мне грехи. Нынче мне всё есть храм, всё есть
просишь!

Я вхожу в этот свет, я вхожу в эту тьму, что ломала.
Я могу, словно нищенка также стоять возле «Spar»— а,
и не видеть зазорного в ней ничего, встану рядом:
– На, монеты блестящие. Их я тебе добывала.
О, как многие люди теперь попрошайкой донатят,
кто на хлеб, кто на воду, профессор на книгу, доклады.
Так вкушай эту осень – она, что псалом из Псалтыри,
как «блажен, чьи грехи» в отмолены оставлены в мире,
и не помнит отмоленный грех, ибо ладан.
Обо что не запнёшься – о камень, дощечку ли, надолб –

всё мне пух, всё мне мох, все мне ладно и складно.

Вот стою в общем хоре – старуха, младенец, певица,
для меня хороши даже те, кто собою гордится.
Ибо всё – есть сиянье. Ибо в общем мы времени жили,
из того, где Высоцкий из сил рвался, из сухожилий.
Из того, где был Галич, я плачу слезами тех Плачей,
до сих пор поколенья, как лес мой, во всю искорячен.
У Шекспира война, как игра, чтоб терпеть поражение
и одиннадцатая есть заповедь, что Моисеева,
хагакурэ в листе, что сокрытое после сожжения,
так посеи меня заново, ибо зерно для посева – я.

Двух смертей не бывать, так на третьей давай остановим-
ся,

горло жгут мне слова, как костёр изначально осенний мой,
ибо осень считаю я с первой петли от Есенина,
добавляющей боли петли от Марины особенно.

Потому – на коленях!

На этих шершавых и слабеньких,
и, конечно, по-женски,
конечно, конечно по-бабьи я
очарованным странником,
стареньким, слабеньким, маленьким.

Маяковским навыворот, чтобы остались уста одни...

Скрепляющие, неумирающие, нужные слова,
погружаюсь в них до Иллариона и до Нестора.
Кто сорвал слово с уст, кругом чтоб голова?
Это слово вначале вспорхнуло небесное!

Это слово, что зрело ещё, что во сне,
что ещё не успело, ожегшее горло!
Ты зачем его дал нам, ему, себе, мне –
слабым нам, смертным нам безнадёжно-упорно?

Ты шепни нам на ухо пока на кресте,
не убит, не помилован – горько Распятый
о великой не смерти,
большой красоте,
изложив чем прекрасны мы, чем мы богаты.

До того я вонзённая в слово Твоё:
обвивает мне шею вся Библия сразу!
Это слово вначале, как тот водоём,
что размахом с ладонь невозможно прекрасен.

Я в него, словно в тазик, так в детстве меня,
когда папа служил в дальней воинской части,
погружали, купали. И печка – в огнях
рыжих, словно листва, снегириных, мышастых.

Под заслонкой гудело, как слово, нутро,
несказанное слово. Его не сказали!

Меня просто в него окунали, в ядро,
если слово – есть Бог,
если слово вначале.

И оно запекалось в гортани Его,
запекалось от этой великой любви.

Обещаю: не помнить уже ничего,
ибо так глубоко,
ибо так высоко,
ибо так неотъемлемо в ткани, в основе!

В пасме, в пряже, в бобине, мотке круговом,
в древне-русской обмотке, чем крест прикрепляли.
Можно словом молчать. И прощать. Пасть ничком.
Убивать можно словом, разлечься цветком,
можно воздух хватать обессловленным ртом
на вокзале!

– О, мой маленький, мой нестерпимо родной!
Словом можно у Стен Плача встать мне стеной,
словом можно в надрыве, в провале, в портале.

И в обрыв. И в отрыв. Но пока я здесь с вами.
Вот вхожу я в подъезд: лампа в тусклом вольфраме

золотым огоньком например сургуча,
это лампа с названием от Ильича,
от кого же ещё? Здесь жила моя мама!

И с живыми, и с мёртвыми, как дьюти-фри
переходом в иные миры говорить,
как звезда, что искрит и, сияя, горит
(о, я видела это единожды в мае!),
как запёкшееся слово в вещи крови,
что с надеждой, авось обойдётся, сторает!

ЛИРА

Да, нелогична, узловата, рвана вся,
да, собрана из ветра.

Ветер в спину...

Она – моя. Другую где мне взять?

Ей имя – Ли́ра.

Как её отрину?

О, небо, ты не зри, кричащим им
особенно про то, что на распутье
моя стояла Ли́ра из лоскутьев,
рубашечка на ней из бедных рифм!

Не снисходи кричащим, что она
Блудница, недостойна даже дна

и даже днища, смрадного, где черви!
Конечно, недостойна. И зачем ей?
Такой нездешней, что кифара, древней...

О, как же можно, я за ней иду,
она босая по России,
снегу,
льду.

Она ко мне безжалостна, жестока,
на позвоночники мне давит: выжечь соки,
я, как берёза, раненная – сбоку
всегда надрез; ей нужен, нужен мой
вот этот плач
и хрип,
и волчий вой!

Она – маньяк. И даже самый-самый
отъявленный убийца Джеффри Дамер
в сравненье с нею жалостный такой.

Не сладкозвучна? Да. Кто обещал вам,
не будет якобы вот этой гордой рвани,
кто обещал, что мною перед сном
не зачитается Митрополит Иларион?
Что самиздат, мне как отец родной?
А лира голая да под дождём и длинно

её кровит до неба пуповина!

Но, небо, ты не зри, не слышь, не мерь!
Хотя все доказательства, улики
да супротив меня и Лиры дикой,
как виноград, как плющ, как земляника.
Она не кается. До Магдалин ли ей теперь?

Ты просто продиктуй ей телефон,
как 01, 02, 03 с тобой связаться,
как Евангелие от Иоанна и от Марка,
как Пятикнижие, Завет, Посланий сон.
И от себя добавлю – Письма русским,
ко всем читающим, которых меньше явно,
которых – горстка! Ибо очень узко.
Пока ещё не поздно. То есть рано.

...и мне много всяческого говорили,
в одной из статей говорили: «Лоскутна...»
Такие – всем горлом кричу я – смешные,
но разве иначе смогу я как будто!

Меня отвергали, не брали, ломали,
другие писали мне в личку: ошибка!
Да много чего. Я не помню – не зла я,

скорее добра, из иного пошива!

Сказали – не друг!

А они мне – подруга!

Сказали: не едь с нами в Болдино что ли.

А как я поеду – оно мне Большое,
оно мне огромно и полем, и лугом!

Оно – неубитая нежность мне, синь – мне,
оно мне рябина, берёза мне, ива!

Оно у меня там в груди у обрыва,
коль я разобьюсь, то взовьются красиво
одним только Болдино птицы Большим и
который мне раз – что таить? – если в спину
и даже не в спину толчок – попадала
я враз пред иконой – огромной, холстинной,
шептала, кричала ни много-не мало
её целовала!

– Аз грешная, право...

да, я – недостойна, как раб Божий мних – я,
но где взять других вам, но где взять иных вам?
Да хоть искромсайте до крови мой стих и
да хоть разорвите, но снова – Он снова
стоит пред иконой Андрея Рублёва,
как сам по себе, без меня свитый тонко

в лучистом просвете – тугая воронка!
Я видела в детстве так, как жаворонка –
подкидыша в небо. Он рвал песней скрепы,
и я ненавидела, ибо так больно
никто мне не делал! Ни белое поле
открытое слишком,
раздетое словно.

– Оденься! Тебе же выращивать хлеб нам!
Прикрой хотя грудь свою. Тёплое лоно.

Нельзя так открыто. Нельзя так любовно.
Настолько разверсто.
Перережьте мне память
моими рифмованными лоскутами...

СЛАВЯНСКИЙ ТРИПОЙНТ

На границе – турецкая фура, шофёр отдыхает.
Здесь славянский трипойнт, здесь Чеховские три сестри-
цы.

Посмотри, как светлеют, как будто темней нет окраин.
Здесь меня накрывает, и я начинаю молиться.
Отчего ты, Господь мой, в тот миг побоялся, не вышел?
Ты умеешь во всю управлять, можешь в трубы ты Иери-
хона
воскричать так, что рухнут стальные небесные крыши,

возопить так, что пыль полетит из огня и бетона.
Ты везде можешь, вся можешь! Песней народной,
ты, что русские братья, как русские сестры сплотиться
и запеть вместе с нами о том, как идти нам по водам,
ибо русские мы – синий взгляд, обрамлѐнный в ресницы!
Мы – пшеничное поле, овсяное поле, луга – мы!
Отчего ты не вышел, когда две сестрицы ругались?
И кричала одна из Чернигова, я не сестра вам
и она не хотела плести обереги из травниц.
Говорила – ни ватника вам, ни носков, ни ватина.
На ножи, на кинжалы, на петли вас, на гильотины...
Ты пойми, ты пойми, я сама хочу в Ялту и в Крым я,
но политика – дело не женское – с леса, вестимо!
Здесь дорога, развилка, здесь птицы белей оригами.
И с тех пор во болящее сердце Руси пали камни...

У империй своя цель, едина, собраться, скрепиться,
и обнять так, что душат объятья, обвить виноградом.
У империй глаголы: жар-птица, десница, светлица,
на свои же окраины плакать, в свои же тесниться!
– Сама садик садила, сама назвала его садом
и сама же убью его, если не будет в нём лада...

Но стоят три сестрицы, обнявшись, такая громада!

Возле них на обочине фура стоит с кирпичами

И шофёр по-турецки глаголет, о чём ни кричал он
мне обидно, обидно, ужели дошли до распада?
Словно бы до панели, шеста, до стрип-бара, дичая!
Говорю снова, Господи, ты же нам три, но в Одном ты!

Ты же можешь их всех замирить, лишь попробуй!
Даже Лазарь воскрес, постучался когда в смертный дом ты
через воды, крещение, сквозь смерть или роды,
это проще, чем воздух, это легче, чем пух, чем дремоты!

Мне хотя до утра бы дожить, сквозь века до утра бы!
Вся дрожу.

Я хочу, чтобы снова с сестрою сестра, чтобы вместе.
Я хочу, сделай, Господи, чтобы они так в металле,
в серебре, злате, меди, граните и камне стояли,
ты же сможешь всё, Господи!
Здесь на пути, перекрестье...

Большая ЕЛЬНЯ

Знаешь, над этой речкой вверх на тарзанке,
как мы качались, безумные, что на качелях,
вот говорят, что у нас здесь попрятаны танки,
именно в этой Большой по-ахматовски Ельне.
Я еду мимо: туман, как заварка с чаем,
помню тарзанку, смородину с ветки старой.
А по дороге меня здесь плакат встречает –

словно бы другом хорошим, зовут Захаром.
Ельня большая, конечно, Большая Ельня
топонимически названа в честь речушки,
о, неужели ей стать, как стена отдельно,
прячь же, родная, танки свои, коль нужно!
Если ты прятала кольца свои и стрелы
в марте, в шестнадцатом веке от черемисов.

О, как поют твои стены! Звучат твои стены,
яблоко, словно стеклянное с неба свисло,
ты воспроси, отчего?

Помню, ярый дождик,
выла я от любви,
о, как я кричала!

Ногти срывала, за землю цепляясь, до кожи,
словно стреляли стены в меня. Стены тоже
могут убить, если рушится мир устало...

Всё в моей жизни отчаянной, дерзкой было:
папы могила,
мамы могила,
мужа могила.

И предавали меня с невозможной силой.
Сын убежал курить на задворки сада,
даже попал в ментовку.
Меня знобило...

Дочка моя...о, да что говорить: хрипели
звуки простуженной флейты, что звуки капли.

Всё можно спрятать – боли, обиды, цели,
словно в портфеле в Большой или Малой Ельне,
то, как ладошки мои от волнения вспотели.

Здесь хохлома золотая.

Здесь синие гжели.

Всё можно спрятать – и нет меня, на высоте я!

Всё можно спрятать высОко, глубОко, широко,
здесь исторически так уж сложилось, любимый,
помнишь, мы ехали быстро. И штрафы платили
за превышение скорости в автомобиле
по воле неба, луга, поля, по воле рока.

Из цикла. Путешествие ДОМОЙ

ПРОДАННАЯ КАРТИРА

Этот двор был когда-то самый родной –
высь небесная, дно голубинное.

Ни высотка, ни ельцинское, ни витринное.

Но он снился так часто, что будто стал сном!

Но он есть этот двор – как славянская правь!

Он как летопись, он мне, как истинный Нестор.

Монолит мой, металл, золочёный мой сплав,
моё детство!

Адрес: улица Стачек, семнадцатый дом.

Понимаете, ангел там бродит небесный!

То взлетает повыше он под потолком,

ощущаю, он нужен мне! Вам – бесполезный!

Домофон.

Пара цифр.

Не впускают.

Я жду.

Отпустите хотя бы вы ангела что ли.

Он там бьётся в окно. Рвётся, словно в бреду.

Его крылья я вижу за шторой.

Потолок побелили, осталось пятно –

это ангел! Он светит. Он был там давно.

Оторвали обои, приклеили гипс,

а мой ангел там есть, свесил крылышки вниз.

И решётки вмурованы: ангел сквозь них:

– Это я! Ангел Божий, Лаврентий я, мних!

...Набираю вновь на домофоне число.

Мой заветный портал, что закрыт, как назло.

Кто вы, женщина? Кто?

А фамилия их:

Не откроем! Слепых мы. Глухих мы. Немых.

Мы Бесслёзных. И мы Бессердечных. Подъезд

сорок лет, как не ваш. Отойди. И не лезь.

Да, квартиру продали (мать, бабка, сестра).

И квартира была непомерно стара!
Деньги были растрочены по пустякам...
Только ангел остался неведомый там!
Он бы мог просочиться хребетно среди дня,
внутривенно и костно, и кровно в меня!
Подставляла я ангелу щёки, лицо
и глядела на пятнышко на потолке,
это был наш подъезд, было наше крыльцо,
было-сплыло, растаяло на сквозняке
в девяностые годы. Квартира, завод,
тряпки, платья хранящие боль, соль и пот.
Ах, ты Ельцинский центр,
всё продали за цент.
Поворачиваемся.
Уходим. Прощай.
Бьётся ангел о прутья, решётку, окно,
золотое моё, непомерное дно!
Бирюзовое пятнышко на потолке,
там был рай, там был истинный, о, люди, рай!
Вижу: пёрышко падает, лапясь к руке.

Детские эти качели, жжётся железо,
если зимой языком лизнуть, то бесполезно
после себя мне отгять, только с кровью во весь рот,
трогать, не трогаю: на расстоянии жжёт!

Вот приближаюсь и чувствую: соль, слёзы, небо,
вот приближаюсь и чувствую: можно залипнуть,
ибо качели со вкусом зимы, снега, ветра,
эти качели – вк, и фейсбук мой, и твиттер.

Эти качели – пацанские, тёплая ранка
на языке до сих пор жжёт, что рыбка,
и призывает коснуться, попробовать, вникнуть,
словно всё та же я дерзкая девка-пацанка!

О, как я прыгала с крыши, играла в хоккей я.
И в баскетбол! Доставала мячами до яркой,
жгучей полоски луча, до хвостатого змея,
после гурьбой мы бежали к соседям в столярку.
Общая правда и вера во всём! А за балкой
озеро! В нём утонула кудрявая девочка Соня,
помню, ходили мы снова гурьбой в дом – поплакать,
где же ты, Соня?

Зачем же ты, Соня? Там омут.

Соня лежала вся в белом, невестином, скромном,
напоминала Египет. И склеп фараона.

Напоминала фонтан. Площадь Красную, ЦУМы.

Пахло кутьёю, вареньем и брагой изюмной.

Дальше обрыв. Дальше омут. Барак и качели.

Как вы смогли сохраниться, о как вы сумели?
У закопченных заборов, сараев алкашных,
мир мой негибнувший, мир скомороший, вчерашний!
Детской площадки, стола доминошного. Бати
вечно сидят там с пивасиком, в дыме табачном.
Кто-то курил Беломор, Чайку, Астру и Приму.
Я на качелях любила качаться. А двор – мат на мате.
Так проходили все осени, вёсны и зимы.

Летом иное: цветы, огороды, картоха.
Что за упрямый народ – всё копают, копают.
Что за упрямый народ, всё клянут то, что плохо:
пенсия, мрот, недостаток. А жизнь – расписная...

Я ни за что за границу не съеду. Чего я
там не видала? На Кипрах, Мальдивах и Мальтах?
Нет освещения здесь.
Даже нету асфальта.
Но обещать – обещали.
А, значит, построят!

Как оплатить мне вам, люди, за ваше добро?
Чем мне воздать? Как слаба моя вещая сила...
Кто б научил... Ибо вами теплеет нутро
слева, где сердце, для вас это сердце растила!

Только для вас воскричать мне зегцизей, для вас
в колкое небо! Для вас белой рыбицей плавать!

Не вопреки, а для вас – на костёр, разделясь
на огоньки, чтоб вас греть человеческой лавой,
не вулканической той, что в пух прах испечёт.

Только добром – не запиской, вина в своей смерти
и не щадя, не обманывая...

Просто грейте

ваше объятье, лицо, тело, руки, живот.

Только добром, люди, люди, отчаянно к вам!

Как бы успеть...

как бы не опоздать, не споткнуться...

Дайте святые – мне их целовать – дайте руки
мне материнские ваши, мне те, что с бедой пополам.

Вам! Даже тем, не любившим, не верящим, вам
надо втройне поклониться, всем злящимся – ибо в них
травмы.

По-христиански, старушки, по-женски. Не так, как «воз-
дам»,

наоборот, не воздам и не брошу я камень.

Спинки стерляжии ваши, ушедших от мя.

Ваши затылочки тёплые, мягкие, птичьи.

Чем оплачу даже за не приятье меня,

ибо больней не любить вас и горечь горчицей!

Пепел храню всех сгоревших, ушедших веков,
ноша своя мне всех цивилизаций не тянет.

Чем оплатить...из каких мне материй и тканей?

Вам я молюсь!

Коль судить, то судите вы сами.

Просто хочу я морщинку погладить рукой

(вам – не принявшим и вам – отвергающим) вашу!

Всех пощадить – убивающих, губящих мя...

Дай ототру я с щеки твоей черную сажу,

дай я сниму для тебя свою с тела рубашку

дай я тебе поклонюсь, дай раскинусь плашмя.

Это добро тоже, коли мне больно зело.

Сколько добра! Для меня его сделали люди.

Благодарить как? Слабо человечье тепло.

О, как воздать мне возвышенно, вяще, светло,

праведно, звездно, космически и полногрудно?